Роберт Фрост

ПЕРЕВОДЫ

Перевод
Владимира Кормана

Часть 2.2

Роберт Фрост. ПЕРЕВОДЫ ч.2.2

Данное издание не имеет ограничений по полу и возрасту.

Сборник оригинальных стихотворений Роберта Фроста в переводе Владимира Кормана с его комментариями; «Роберт Фрост в России» (краткая биография) – 2016 год.

Роберт Фрост

ПЕРЕВОДЫ ч.2.2

1874 - 1963

Роберт Фрост в России

В 1999 году посольство США в Москве отмечало 125-летие со дня рождения Роберта Фроста. В торжествах принимал участие американский писатель Франклин Рив, спутник Фроста во время его пребывания в России и автор книги об этой поездке.

Франклин Рив произнёс речь «Памяти поэта» в этот юбилейный день, которая полностью опубликована в первой части данного издания «ПЕРЕВОДЫ». Также вы, уважаемые читатели, можете ознакомиться с выдержками из книги Франклина Рива “Роберт Фрост в России”.

«Роберт Фрост в России» *

Фрагменты книги
(перевод с английского Людмилы Мотылёвой)

(*Продолжение. Начало в книге «ПЕРЕВОДЫ» ч.2.1)

Воскресенье

Воскресенье в Москве, как в Нью-Йорке или Париже, день особый. Большинство людей не работают, хотя почти все магазины открыты. Дети не идут в школу. Этот день люди проводят со своей семьей: на семейный ужин; родители с детьми отправляются за город на пикник или идут к Москве-реке, чтобы искупаться и покататься на лодках. Женщины наряжаются с особой тщательностью. Мужчины надевают отутюженные темно-синие костюмы. Это чисто светский выходной, в который никто не посещает церковь.

Мы тоже устроили себе выходной. Фроста переводчики его стихов Зенкевич и Сергеев пригласили на “Лебединое озеро” в Большой театр. Адамс тоже захотел пойти, а я уже видел “Лебединое” в постановке Большого и поэтому отказался. Мы договорились снова встретиться в гостинице ближе к вечеру.

Мы думали, Фрост будет томиться на балете, но Адамс потом сказал, что ему совершенно не было скучно. По словам Адамса, Рябинкина танцевала блистательно, грациозно и с видимым удовольствием. Фрост прекрасно провел время. После балета, начавшегося в одиннадцать, Фрост, Адамс и двое русских обедали в ресторане “Прага”, где за соседним столиком сидели Винокуров, Вознесенский и американская журналистка. Журналистка бросилась целовать Фроста, остальные вели себя сдержанней. Вознесенский сказал, что сегодня еще увидится с Фростом за ужином, но на ужин почему-то не пришел.

День выдался прохладный и солнечный. Я пообедал у друзей, пообщался с коллегами, проехался по Москве на метро и троллейбусе, и в дороге мне всюду встречались толпы людей. В это тихое сентябрьское воскресенье москвичи просто гуляли, разговаривали, наслаждались красотой своего города.

В гостинице мы немного поговорили с Адамсом, потом разбудили Фроста, чтобы успеть собраться на ужин. Мы были приглашены к Константину Симонову на семь вечера.

Дом и лестница не давали ни малейшего представления о том, как выглядит квартира Симонова. Дом был обычный, многоквартирный, серый снаружи, с плохо освещенными лестничными маршами. Лестничные площадки были голыми, стены глухими. Но войдя в квартиру, мы сразу увидели, что хозяин отдает предпочтение элегантным вещам в современном стиле. Мы увидели красивую заграничную мебель и лепные украшения. Мы сидели на стульях, похожих на эймсовские, и диванах, набитых пенорезиной. По всей комнате на полках и низких столиках располагались куски суковатого дерева и статуэтки. Вкусы художника и доходы известного писателя сделали эту квартиру вненациональной, но в то же время по-русски уютной.

На ужин подали жаркое, а на десерт астраханский арбуз. Мы пили водку из специальных неустойчивых рюмок без ножек: из них нужно было пить до дна. С нами ужинали Межелайтис и распорядительницы. Маленькая дочка Симоновых перед тем, как пойти спать, робко пожелала всем спокойной ночи. Разговор шел преимущественно о еде и поездке Фроста и не касался серьезных тем. Симонов ограничился несколькими анекдотами и приличествующими случаю фразами о работе и долге художника. Вечер был спокойным и приятным, но, кроме угощения, ничего не запомнилось. Симонов и его жена были очень любезны, но за все время никто не сказал ничего существенного. Наша трапеза сильно смахивала на ужин зажиточных американцев в пригородном доме. Мы рано уехали из гостей, чтобы успеть на двенадцатичасовую “Красную стрелу” до Ленинграда. Распорядительницы, Фрост, Адамс, Мэтлок и я — все с чемоданами — прибыли на стоянку такси Ленинградского вокзала.

Поезд тронулся. Распорядительницы скрылись в своем купе. Фрост лег спать. А Адамс, Мэтлок и я, распивая бутылку виски, неожиданно появившуюся из чемодана, словно сказочный джинн, готовились к веселому ночному бдению.

Вторник

<...> Комарово с его писательским и академическим дачными поселками находится на морском побережье в пятидесяти минутах езды от Ленинграда. Дача Алексеева представляет собой простой очаровательный летний домик с ухоженным садом, обнесенный низким забором. В доме и около него хорошо и привольно.

Алексеев с семьей радушно приветствовали нас. По дороге я пытался объяснить Фросту, к кому, куда и зачем мы едем, и предположил, что там будет и Анна Ахматова, лучший из ныне живущих русских поэтов. Я был взволнован. Я испытывал

глубокое уважение и горячую симпатию к этим людям и знал, что разделенная с ними трапеза наряду с успехом предстоящих публичных чтений будет значить для Фроста больше, чем просмотр любого балета или посещение дворца, и, что важнее всего, оставит у него в памяти правдивый образ той России, о которой он раньше не имел представления. Фрост практически ничего не знал о русской поэзии: переводов ее на английский было мало, удачных среди них и того меньше. Перечисляемые русские фамилии звучали для него слишком замысловато, и он не мог их запомнить. В основном ему приходилось судить о людях по тому, как они выглядят и что говорят. И это делало предстоящий визит еще более важным.

Вместе с распорядительницами и нашим эскортом мы приехали к Алексеевым поздним утром. День был солнечный и прохладный. Алексеев взял с собой Фроста на прогулку по саду и с гордостью показал ему на стоящую среди других деревьев маленькую североамериканскую голубую ель, которую он посадил напротив застекленной террасы. Мы вошли в дом и расположились в кабинете Алексеева; корреспондентка ТАСС присела на диван, положив на колени открытую записную книжку. Фрост и Алексеев дружелюбно беседовали о садоводстве и Америке, о еде и книгах. В обоих чувствовалось некоторое напряжение: по-видимому, они были смущены тем, что их светская болтовня записывается для передачи на весь мир, словно некая истина в последней инстанции. Разговор все время притормаживал у невидимых ограничительных знаков, как будто воздух был заткан бесконечной сетью дорог, и нельзя было сказать наверняка, по какой из них ты движешься.

Подходило время обеда. Явилась Ахматова в темном платье и бледно-сиреневой шали, наброшенной на плечи, величественная с благородной сединой и глубоким взором. Они с Фростом вежливо поздоровались. За обедом Алексеев предложил тост за Фроста, а потом за Ахматову и Фроста,

говоря об их встрече как об одном из замечательных литературных событий нашего времени. По тогдашним слухам, эти два великих поэта были соперничающими кандидатами на Нобелевскую премию.

Мы обедали в залитой солнцем столовой; обед состоял из семи блюд, и застольная беседа касалась американской и английской литератур, а также античной классики — предметов, в которых Ахматова, Фрост и Алексеев отлично разбирались. Ахматова, Фрост и Алексеев, который был лет на двадцать их моложе, в интеллектуальном плане принадлежали к одному поколению. И Ахматова, и Фрост начали приобретать известность перед первой мировой войной. При всем своем различии их долгие и необычные жизненные поприща привели их к общему итогу: каждый из них стал крупнейшим поэтом у себя в стране, виднейшим представителем национальной литературы. Они сидели за обедом, символизируя собой, как мы полагали, воскрешение того взаимопонимания, которое почти за сто лет до этого существовало между Тургеневым и Генри Джеймсом и которое казалось всем нам, несмотря на отсутствие какой-либо “глубокой” дискуссии, более важным, чем переговоры политиков.

Фрост, однако, чувствовал себя не очень уютно. Возможно, он просто нервничал из-за публичных чтений, которые должны были состояться этим вечером. После того как некоторые русские с большой похвалой отозвались об Ахматовой, я в нескольких фразах дал очень высокую оценку творчеству Фроста. Он раздраженно гаркнул: “Хватит, хватит, прекратите”. Я кивнул и попытался разъяснить свою мысль, но он не стал слушать. “Прекратите”, — повторил он.

Несмотря на настойчивые просьбы, он отказался прочесть стихотворение, тут же уступив это право Ахматовой. Мы прослушали итальянскую запись некоторых ее вещей, а потом

она прочитала два коротких недавно написанных стихотворения. Она сидела в кресле у окна в наполненной светом кремовой столовой. Шаль все еще была наброшена на плечи. Руки лежали на коленях. Она читала:

О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.

И потом своим негромким, но волнующим и выразительным голосом она прочитала стихотворение о четырех могущественных, страстных женщинах, героинях мировой истории. Она написала это стихотворение всего шесть дней назад, сказала она, в день приезда Фроста в Россию, хотя тогда она об этом приезде ничего не знала.

«Последняя роза»

Вы напишете о нас наискосок...
И. Б.

Мне с Морозовою класть поклоны,
С падчерицей Ирода плясать,
С дымом улетать с костра Дидоны,
Чтобы с Жанной на костер опять.
Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.

”Переведите,” — обратилась она ко мне, прочитав стихотворение, но я сказал, что не могу и лишь приблизительно передал Фросту содержание.

”Очень музыкальное стихотворение, — сказал он, — в нем слышится музыка”. Он улыбнулся и кивнул: “Очень хорошее стихотворение, очень хорошо звучит”. С его стороны это была

чистая любезность, он говорил те вещи, которые, как он чувствовал, от него хотели слышать, и он был тронут голосом Ахматовой и выражением ее лица. Он знал, что она пользуется авторитетом, но для него оставалось неясным, на чем он зиждется, и я чувствовал, что он не может понять, каким образом финал стихотворения вдруг сфокусировал историю русской литературы. Он снова чувствовал себя чужаком: ему недоступна была выраженная по-русски мысль о наивысшей важности и насущности вещественной красоты. Он видел, что другие ощущают нечто особенное, но сам ощутить этого не мог.

Услышав, как Ахматова читает это стихотворение, мы были растроганы. Все присутствовавшие были настолько поражены авторским исполнением, а также жизнью и мировосприятием, отразившимися в этом восьмистишии, что в течение нескольких секунд мы безмолвствовали. Не выразимая словами сущность стихотворения тенью легла на комнату. Фрост запомнил это, и он запомнил выражение лица Ахматовой: впоследствии он говорил, что она была величественной и в то же время очень печальной.

№3

Пятница

<...> В четверг вечером мы ужинали у Мэтлоков. Фрост забавлял шутками их маленьких детей и с удовольствием ел американскую пищу. Зазвонил телефон. Мэтлок снял трубку и просиял: Фроста пригласили завтра посетить Хрущева. Он летит из Москвы в восемь утра.

Мы двинулись обратно в гостиницу примерно в десять тридцать. По дороге Фрост вдруг пожаловался на слабость в ногах и плохое самочувствие. Адамс, его старинный закадычный друг, принялся легонько трунить над ним,

разговаривая с ним как с маленьким: может, это несварение желудка, с кем не бывает.

По возвращении в гостиницу Фрост принял свое нелюбимое лекарство. Его состояние продолжало ухудшаться. Мы обсудили с ним возможные варианты и вопрос, кем он будет себя потом считать, если не поедет. Мы убедили его подождать с решением до утра. Он должен был выехать из гостиницы в шесть тридцать. Мы придем без пятнадцати шесть, сказали мы; в шесть мы будем завтракать. Тогда все и решим. Мы пожелали ему спокойной ночи, и он закрыл дверь. Он не любил опеки, но если ему что-то было нужно, хотел получить это немедленно.

В коридоре мы с Адамсом еще поговорили. Он знал о некоторых предыдущих болезнях Фроста и об особенностях его организма. Мы оба придерживались мнения, что прежде всего Фрост перенервничал. Ведь нам было известно, как он готовился к поэтическим вечерам, как перед их началом уединялся на час-другой в своем номере и как ужинал только по их окончании. Предстоящая поездка не шла ни в какое сравнение с поэтическим вечером. И он настолько серьезно относился к своей поэтико-пророческо-политической миссии, что, разумеется, должен был нервничать. А что если он к тому же болен? Что если ему станет хуже? Мы согласились, что решим все вопросы завтра — или, скорее, сегодня, потому что уже близился рассвет.

Будильник Адамса зазвенел. Адамс разбудил меня. Мы оделись и пошли к Фросту. Он сказал, что чувствует себя хуже, но поедет в Гагру: “Ради этого я сюда приехал”. Мы с Адамсом спросили Фроста, кого из нас он возьмет с собой (премьерское приглашение давало право только на одно сопровождающее лицо). Фрост подпустил шпильки насчет познаний Фредди в русском языке и моей незаменимости. “Все равно мы одна команда, ведь так?” — сказал он. Мы согласились. В шесть

тридцать мы были внизу и ждали Суркова. В восемь пятнадцать мы уже летели в самолете.

В десять пятьдесят мы приземлились в аэропорту под Сочи. Нас посадили в роскошную черную “чайку” с занавесками на окнах и шофером, который, держа руку на клаксоне, помчал нас быстрее ветра. Через час мы уже пересекли границу Грузии и подъехали к гостинице Министерства здравоохранения Грузинской ССР. Мы должны были умыться, отдохнуть и немного поесть, а потом проехать еще двадцать минут до дачи премьер-министра.

Ресторан и гостиная были внизу. Наш с Фростом номер располагался на втором этаже. Балкон выходил в буйно разросшийся субтропический сад с пальмами, бананами, апельсиновыми и лимонными деревьями. За ним раскинулось море, лазурное и прекрасное в золотистом свете южного солнца.

Фрост чувствовал себя хуже. Он лежал. Дремал. Жаловался на усилившуюся боль в животе. Нет, он не хочет есть и пить, только немного “грушовки”, сказал он, имея в виду газировку с грушевым ароматизатором, к которой он питал слабость.

Остальные члены группы сели обедать в гостиничном ресторане, несколько сконфуженные. Представители принимающей стороны были огорчены. Я нервничал не меньше Фроста. Я постоянно выходил из-за стола и наведывался к нему. Когда я во второй раз спросил, не нужно ли вызвать врача, он согласился.

Пришел директор гостиницы. Мы измерили Фросту температуру. Фрост сказал, что не в состоянии никуда ехать. Я сказал, что лучше вызвать врача. Через двадцать минут по пригорку поднялась молодая девушка (большинство врачей в России — женщины). Она была в белом халате и несла в руке специальный докторский чемоданчик. Она еще раз измерила

температуру Фроста, пощупала у него пульс, прослушала ему грудь и спину, посоветовала съесть немного супу или выпить чаю, подтвердила, что он не совсем здоров, но выразила сомнение в том, что он тяжело болен. По-видимому, заключила она, это расстройство желудка, к тому же сказалась усталость от такой насыщенной поездки, но если это что-то серьезное, Фросту лучше быть в Москве. Фрост повторил, что не в состоянии никуда ехать, просто не в состоянии.

Я сказал Суркову, что Фрост не может ехать дальше, что он совершенно выбился из сил. Я возвратился к Фросту и молоденькой девушке-врачу, которая и дальше все время оставалась с ним и под конец даже поехала провожать его до самолета. Сурков начал звонить по телефону. Через пятнадцать минут он вернулся и объявил, что премьер посылает своего личного врача и вскоре прибудет сам. Хрущев сделал красивый жест. Когда я сообщил Фросту о премьерском намерении, он испытал заметное облегчение и все-таки еще больше занервничал: ведь встреча должна была состояться в ближайшие часы.

Время шло. Фрост дремал. Остальные, сняв пиджаки и выйдя на балкон с видом на море, беседовали и говорили, как было бы здорово никуда отсюда не уезжать и ходить купаться. Девушка-врач сидела одна внизу и периодически поднималась к Фросту, чтобы посмотреть, в каком он состоянии. Я заглядывал к нему каждые пять минут.

Когда я находился в номере, вдруг вошел врач Хрущева — загорелый, стройный, внешне привлекательный мужчина средних лет в очках и коричневой хлопчатобумажной куртке. Он был сама деловитость. Он тщательно осмотрел Фроста, так же, как его осматривала до этого девушка-врач, но с большей властностью, объяснявшейся его уверенностью в себе и занимаемой им должностью. Закончив осмотр, он спросил

меня о прошлых недомоганиях Фроста, поинтересовался, как долго длится наше путешествие. Я ответил насколько мог подробно, упомянув о предыдущем расстройстве желудка у Фроста, точно назвав дату нашего прибытия и настаивая на том, что по нескольким причинам мы должны сегодня же возвратиться в Москву. Откровенно говоря, я думал, что Фрост плохо перенесет изоляцию в этом курортном городе. Врач продолжал многозначительно кивать и повторил, что Фрост, скорее всего, просто переутомился. У него была температура 38,6.

Врач поднялся и, прописав диету и отдых, покинул номер. Я сказал Фросту, что скоро приедет Хрущев.

Снова воцарилась тишина. Пальмовые листья за окнами медленно поднимались и опускались, как опахала. Фрост прикрыл веки. Я начал читать книгу, но не мог сосредоточить внимание даже на одной фразе. Вдруг льняные песочного цвета чехлы на креслах превратились для меня из летней приметы в немые свидетельства недоразумения, из-за которого мы очутились не в той комнате, не в том мире — не гости, а непонятно кто. Минуты ожидания тянулись долго, как дни. Я постоянно выходил в коридор, чтобы взглянуть на настенные часы.

Никто не появлялся. Ничего не происходило. Я вышел посмотреть, не приехал ли Хрущев. Я заметил впереди человека и обратился к нему. Он уставился на меня, сказал, что ничего не знает, и исчез в недрах здания. Больше он не возникал. Я возвратился в гостиницу и вышел на балкон, испытывая странное беспокойство, как будто вступил под кровлю замка с привидениями, хотя повсюду ярко светило солнце. Куда же все подевались?

Идя по балкону, я завернул за угол и вдруг увидел Хрущева и Суркова, которые разговаривали, сидя за столом, Сурков

представил меня премьеру. Я сказал, что Фросту нездоровится, что он глубоко признателен за визит врача, что он очень рад приезду Хрущева в гостиницу и жаждет его видеть. Пришел врач Хрущева, и Хрущев спросил его о диагнозе. Врач дал подробный и объективный отчет. Хрущев подытожил разговор, спросив, значит ли все сказанное, что он может увидеться с Фростом. Врач ответил утвердительно. Хрущев сказал: “Пошли”.

Когда я сказал Фросту, что Хрущев будет с минуты на минуту, он сел на край кровати. Он надел носки и обулся. Пришли русские. Мы пододвинули несколько кресел. Хрущев сел в одно из них совсем близко к Фросту.

На Фросте были рубашка и брюки. На Хрущеве — щеголеватый летний костюм оливкового цвета поверх светло-бежевой украинской сорочки. Загорелый, пышущий здоровьем, он был энергичен и чрезвычайно любезен. Он спросил Фроста о его самочувствии, попенял ему за то, что он себя не бережет, выразил восхищение далеким путешествием, которое он предпринял, сказал, как он рад их встрече, напомнил ему о необходимости следовать предписаниям врачей, если он хочет дожить до ста лет. Фрост, со своей стороны, сказал, что ничуть не жалеет о своем приезде, что ему было очень приятно получить приглашение, что, как бы там ни было, никогда нельзя доверять врачам и что он, безусловно, хочет дожить до ста лет, потому что в тот год, когда ему исполнится сто лет, его стране будет двести. Дожить до такого возраста, чтобы быть всего в два раза моложе своей страны, — это что-то да значит.

Хрущев спросил, какие у него впечатления от пребывания в России, какой ему оказали прием. Фрост ответил, что он прекрасно провел время и что, судя по тому, сколько издается стихов и сколько вокруг поэтов, премьер, безусловно, много делает для процветания поэзии. Они коротко поговорили об

искусстве, поэзии и общественной позиции художника. Фрост передал премьеру приветствия от президента и выразил признательность организаторам своего визита.

После этого начался серьезный разговор. Хрущев спросил Фроста, нет ли какого-то особого вопроса, который он хотел бы обсудить, и Фрост заговорил о проблеме, уже давно вызывавшей у него большую озабоченность, проблеме взаимопонимания между Востоком и Западом.

Он не стал в угоду некоторым своим друзьям-республиканцам критиковать идею мирного сосуществования. Он сразу недвусмысленно дал понять, что относится к советской власти как к данности, что — нравится это кому-то или нет — социализм неизбежен и что он восхищается отвагой, с которой премьер Хрущев использует власть. Он не ставил под сомнение идею мирного сосуществования, хотя сам никогда не пользовался этим словом, предпочитая говорить о “соперничестве”. Но он придавал большое значение моральным качествам руководителей обеих стран и, соответственно, беспокоился о долговечности их достижений. Еще до своей поездки в Россию он полагал, что вклад политических деятелей в историю определяется их нравственностью. Он всерьез думал, что итоги президентских выборов 1960 года свидетельствуют о начале эпохи расцвета искусств. Энергия века, как ему казалось, сулила блестящее будущее.

Лучшее, полагал он, что может даровать нации государственная власть — это яркая личность. Отсюда вытекает роль поэта в государственной власти. Он повторил Хрущеву свою излюбленную мысль: великая нация создает великую поэзию, и великая поэзия создает великую нацию. Подразумевая именно такое политическое и интеллектуальное величие, он на следующий день заявил корреспондентам, что

его беседа с премьером Хрущевым “проходила не на примитивном, узколобом, а на действительно высоком уровне”. Он думал об этом величии, когда сказал премьеру, что негоже устраивать мелкие перебранки, что лидеры двух стран, проявив политическую волю и великодушие, должны прийти к необходимости благородного соперничества между Россией и Соединенными Штатами. “На уровне держав, — сказал Фрост Хрущеву, — должны быть полная откровенность и взаимопонимание”.

Фрост затронул тему культурных обменов, сказав, что сами по себе они интересны, но с их помощью ничего нельзя добиться и они мало что значат. И кроме того, они не имеют никакого отношения к реальной власти. “Мы готовы к соперничеству в спорте, науке, искусстве, демократии, — сказал он. — Мы получим возможность проверить, чья демократия победит”.

Разговор перешел к острым вопросам международной политики и поддержания государственного престижа. Чем больше Фрост упирал на свои “скромные предложения”, обеспечивающие решение берлинской проблемы в соответствии с его собственным представлением о политическом великодушии, тем напористее Хрущев выдвигал свои аргументы. В ответ на предложение Фроста объединить Западный и Восточный Берлин Хрущев выступил с жесткой критикой НАТО, неонацизма, поднявшего голову в Западной Германии, и безответственной политики западных держав, из-за попустительства которых Германия снова начинает угрожать миру и стабильности. Фрост ответил, что объединенная, демилитаризованная и широко вовлеченная в международную торговлю Германия не будет угрожать стабильности. Хрущев сказал, что Германия и так не представляет реальной угрозы, как, впрочем, и НАТО, поскольку советские ракеты меньше чем за полчаса могут стереть Европу с лица земли. Если вы действительно хотите стабилизировать ситуацию, подпишите

мирный договор, предложил премьер. Вот подписали договор по поводу Австрии, сказал он, и посмотрите, как разрядилась обстановка. Президент Кеннеди, сообщил премьер Фросту , сам признался, что хочет подписать мирный договор, но не может этого сделать из-за сложившейся внутриполитической ситуации. Фрост снова заявил о своих опасениях, что пререкания из-за Берлина — в сущности, мелкие дрязги по незначительному поводу — могут спровоцировать огромную войну между двумя мировыми гигантами, двумя странами, которым принадлежит следующее столетие. Премьер сказал в ответ, что страны — участницы Варшавского договора активно развиваются в экономическом плане и что скоро они обгонят Общий рынок. Фрост снова заговорил о недопустимости межгосударственного закулисного торга, о признании существующих границ политического влияния и непрерывном сближении капиталистической и плановой экономик, о демократии, тянущейся, как он выразился, вверх к социализму, и социалистической демократии, которая, выражаясь его словами, движется по нисходящей от своего сурового идеала к более гуманной форме.

Защищая свои позиции в берлинском вопросе, премьер утверждал, что Запад не имеет никаких прав на Восточный Берлин, что он принадлежит их стороне. “Не о чем торговаться”, — сказал он. В свою очередь он подал идею, чтобы Фрост попросил своего президента и своих соотечественников повторно рассмотреть предложение о придании Берлину статуса свободного города и размещении на его территории войск ООН; при выполнении этих условий русские гарантировали коридор и пограничный режим.

Безусловно, оба собеседника были уверены в моральной силе своих стран и в их военной мощи. Оба заявили, что они лично и их страны желают соревноваться друг с другом. Фрост сказал, что если битва должна произойти, то пусть она будет из-за чего-

то крупного, принципиального. Однако он пропагандировал мирное соперничество во всех остальных сферах: в спорте, бизнесе, искусстве, гуманитарных науках, — соперничество, которого, как он сказал, хочет Бог. “Бог хочет, чтобы мы соперничали, — заявил он. — Конфликт — движущая сила прогресса”. Премьер Хрущев сказал, что основополагающий конфликт между двумя нашими странами — это мирное состязание в экономической области. Советский Союз и все страны — участницы Варшавского договора — молодые государства, здоровые, энергичные, полные сил. Они сделали огромный шаг вперед. Соединенные Штаты и Западная Европа, заявил он, имеют тысячелетнюю историю и загнивающую экономическую систему. Это напоминает ему один забавный эпизод из мемуаров Горького о Толстом, где Толстой говорит о себе, что он слишком стар, слаб и немощен, чтобы заниматься этим, но до сих пор испытывает желание. Фрост рассмеялся и сказал, что он ощущает то же самое, но что Соединенные Штаты еще слишком молоды, чтобы беспокоиться на этот счет. Фрост сказал, что премьер обладает огромной властью и может принести огромную пользу, достигнув политического урегулирования односторонними действиями, без прямых переговоров с Соединенными Штатами. Хрущев только должен найти простое решение берлинской проблемы, и Соединенные Штаты согласятся с этим решением. “У вас душа поэта”, — ответил премьер Хрущев.

Фрост заявил, что европейская цивилизация принципиально отличается от азиатской и африканской. Премьер сдержанно отреагировал на страстный призыв Фроста признать, что у России, Европы и США одни и те же общеевропейские культурные ценности, противостоящие тому, что он назвал отсутствием культуры в Африке и непреодолимой культурной чуждостью Китая. Хрущев проявил терпение. Он говорил о снижении курса доллара и о перераспределении военной мощи

в эру ракетного оружия: океаны, можно сказать, пересохли, заявил он, и британский флот фактически перестал существовать как сила, поэтому Соединенные Штаты не могут больше рассчитывать, что им поможет удаленное географическое положение. Русские за многое благодарны американцам, признал премьер и рассказал, как накануне он пошутил в ответ на хвалебный отзыв министра Юдалла об огромных советских гидроэлектростанциях, что это американцы в тридцатых годах научили русских, как их строить.

Фрост снова вернулся к политическим вопросам. В отношениях между двумя нашими странами не должно быть никакого мухлежа, никакого обмана. Надо покончить с пропагандой, с взаимными поношениями. Надо прекратить все это. И Хрущев целиком и полностью с ним согласился.

Он спросил Фроста, не устал ли он, не слишком ли его, Хрущева, визит затянулся. Фрост ответил: нет, он рад, что состоялся такой откровенный, такой благородный разговор. Хрущев попросил Фроста непременно передать его приветствия президенту и американскому народу и обратить внимание президента на те вопросы, которые они с Фростом обсудили. “Было очень приятно познакомиться с таким знаменитым поэтом”, — сказал премьер. Он был рад, что Фрост доволен своей поездкой в Россию, и он пожелал ему многолетней и успешной творческой деятельности.

Они стояли, пожимая друг другу руки. Фрост снова повторил, как ему приятно, что эта встреча состоялась. Хрущев вежливо повернулся, обошел кровать и вышел из комнаты. Остальные последовали за ним.

”А мы неплохо поговорили”, — сказал Фрост, в изнеможении повалившись на кровать. “Он великий человек, — добавил он,

— он знает, что такое власть и не боится взять ее в свои руки. Да, он великий человек”.

Было приблизительно без четверти пять. Разговор длился почти полтора часа. Фрост забыл подарить Хрущеву экземпляр своей книги “На вырубке”, который он привез для него. “Роберт, — сказал я, — вы не хотите надписать книгу?” “Ох, как же это я забыл?” — спохватился Фрост.

Я выбежал из гостиницы и сказал Суркову, чтобы он попросил премьера задержаться на минуту: Фрост хочет подарить ему свою книгу. Наверху в номере Фрост собирался надписать книгу, но не мог вспомнить инициалы Хрущева. Наконец, он написал:

«Премьеру Хрущеву
от соперника в дружбе
Роберта Фроста»
Гагра
7 сентября 1962 года

Я спустился с книгой и передал ее Хрущеву, сидевшему рядом с шофером в зеленой открытой “чайке” с откидывающимся верхом. Его секретарь и врач сидели сзади. Неподалеку виднелась охрана. На мгновение показалось невероятным, что в этом буйно-лазурном мире действительно состоялась потрясающая встреча, свидетелями которой мы все были. Власть влияет на каждого, кто берет ее в свои руки; она оставляет на человеке следы того, к чему он прикасается, и загрязняет его. В великой власти есть что-то фантастическое: ее источник столь неопределим, что кажется, будто его совсем нет. И ценности, стоящие за ней, как любил повторять Фрост, обнаруживаются в поведении человека.

Визит Фроста в Россию преследовал несколько целей. Однако чем больше мы вспоминаем о нем, тем больше он кажется нам

наглядным примером того, как мы воздаем почести величию и, воздавая их, стараемся поставить это величие себе на службу.

Фрост стал знаменитостью, стал общественным явлением задолго до поездки в Россию. Литературные почести пробудили в нем ощущение значимости политической силы или, проще говоря, власти. Отправляясь в Россию, он с самого начала надеялся увидеться с Хрущевым, поговорить с первым лицом в государстве. Он хотел поговорить о своем видении неизбежного пути развития цивилизации и о том, что, по его мнению, должны делать сильные мира сего. Почести, которые ему оказывались, нервировали его, и немудрено — ведь почести означают, что от тебя ждут новых, еще больших успехов и что ты не имеешь права на провал, а именно провала боялся Фрост, отправляясь в Гагру.

Он ехал в Россию, представляя ее себе крестьянской страной, по которой разгуливают медведи, а русские даже переусердствовали в оказании почестей. Они чествовали его от всей души, отдавая должное его таланту, и поэтому он ехал в Гагру с напряженным ощущением возложенной на него благородной миссии. Он ехал, не испытывая никакого трепета перед властью, с особым чувством личной ответственности высокоуважаемого человека.

Хрущев, самый могущественный политический деятель в России, признал его большие заслуги в поддержании культурной традиции. Фрост, к концу жизни ставший самым почитаемым литератором Америки, признал важнейшую роль Хрущева в формировании сил, влияющих на мировые события. Они вели свободный, очень насыщенный диалог, который был проникнут глубоким уважением и лишен всякой церемонности. Они обсуждали расстановку сил в противостоянии Востока и Запада, рассказывали анекдоты, анализировали значение экономической конкуренции, хвалили друг друга за энергию,

открыто осудили жестокости войны и твердо заявили о необходимости применения силы для поддержания стабильности, для защиты достоинства и традиций.

Хрущев, заявивший, что ненавидит коварных нацистов, похвалил технические достижения американского капитализма. Фрост, сказавший, что китайцы и африканцы не играют никакой роли в мировой политике, восхитился достижениями русского социализма. Они были единодушны в том, что Россия и Соединенные Штаты должны покончить с мелочными придирками, должны проявить благородство.

Суть этой встречи, как и всей поездки Фроста в Россию, в ярком противостоянии двух уверенных в себе, высокоуважаемых людей, каждый из которых произвел на другого более сильное впечатление, чем можно было бы предположить. Мощь умения, мощь таланта — вот чем люди добиваются уважения к себе.

Суббота

Мы прилетели обратно в Москву в субботний полдень. В пути мы все, кроме Фроста, который в основном дремал, болтали о том о сем. Сурков говорил о русской литературе, в частности, о некоторых произведениях, которые вскоре должны были увидеть свет; о том, что должен возродиться интерес к творчеству Демьяна Бедного и что в середине следующего года в серии “Библиотека поэта” выйдет том стихов Пастернака, больший по объему, чем тот, что вышел в 1961 году под редакцией Суркова. Я понял с его слов — то же самое многие из нас слышали от других людей, — что Хрущев лично играл не просто решающую, но и жизненно важную роль в процессе возрождения русской литературы. Публикация мемуаров Эренбурга должна была продолжаться, потому что, хотя всякая биография грешит передержками и приукрашиванием фактов, мемуары, по словам Хрущева, —

“увлекательное и полезное чтение”, существенное свидетельство об эпохе, которую никто не знает так хорошо, как Эренбург. Зимой следующего года была предпринята резкая атака на интеллигенцию, но к концу лета 1963 года Хрущев снова начал сдерживать реакционеров и благоволить к либералам — тем писателям, которые хотели поддерживать контакты с Западом и правдиво писать о жизни в стране. Некрасова не исключили из партии, Эренбург продолжал находиться на переднем крае идейной борьбы; выдающиеся заслуги, авторитет и принципиальность Твардовского были вознаграждены долгожданной публикацией его сатирической поэмы “Теркин на том свете”. В поэме русский солдат Василий Теркин попадает на тот свет — в царство бюрократии советского образца. Мне хочется думать, что разговор Фроста с Хрущевым и обещание Хрущева покончить с грубой пропагандой способствовали улучшению обстановки в мире.

Фроста встретили в московском аэропорту с распростертыми объятиями. Евтушенко и Симонов накануне вечером заменили Фроста на запланированном поэтическом чтении. В актовом зале Педагогического института имени Ленина собралось свыше тысячи человек. Они слушали, как Евтушенко и Симонов читали стихи самого Фроста и стихи, посвященные ему, и говорили о его поэзии. До последней минуты никто не знал, что мы опоздали на самолет и что следующий рейс будет только в девять утра. По возвращении в Москву Фрост даже сандвич съесть не успел, как налетела толпа журналистов.

На пресс-конференции в гостиничном номере Фроста присутствовали примерно шестьдесят-семьдесят корреспондентов. Были установлены микрофоны, работали камеры телевизионщиков и кинохроникеров. Фрост говорил членораздельно, но его не всегда легко было понять. Часть вопросов он вообще прослушал и во многих случаях не столько отвечал на заданный вопрос, сколько высказывал то, что, как

ему показалось в этой напряженной обстановке, должен был высказать. Кроме того, воображение поэта создает для нас подлинные миры там, где без его участия мы увидели бы только пустыни и тюрьмы. Фрост назвал Хрущева “разбойником”, и это слово перешло из подлинного поэтического мира в мир публичных заявлений; в общей неразберихе Фрост не услышал, а может, не захотел услышать вопрос журналиста, действительно ли он имел в виду то, что сказал, — и люди поняли это слово по-своему, буквально. Журналисты оказали Фросту плохую услугу. Точно так же, я думаю, те люди, которые превратно поняли восхищение Фроста Хрущевым и Россией, должны сейчас признать, что проявили обывательскую ограниченность. Как заявил Фрост в октябре после своего возвращения из России на Национальном поэтическом фестивале в библиотеке Конгресса, “Я жизнью своей прекрасной готов биться об заклад” — самое замечательное из всех жаргонных выражений. Если ты не готов биться об заклад своей жизнью, как бы прекрасна она ни была, ты не игрок”. Впоследствии Фрост, чтобы не оставалось никаких сомнений в его теплом отношении к новым русским друзьям, скажет: “Я хочу послать подарки русским поэтам. Чудесные ребята. Я хочу послать им кое-какие серебряные вещи времен революции. Нашей американской революции. Я так им и напишу”. Какие общие выводы о политической ситуации он сделал? “Мы занимаемся великими мировыми вопросами, и у нас это неплохо получается,” — сказал он. На пресс-конференции в гостиничном номере на вопрос о культурных обменах он ответил так: “Хорошо, когда они двусторонние. Они должны быть двусторонними. Но очень много, — добавил он, — значит великодушие, наши страны — соперницы в великодушии”. Эти слова можно сделать эпиграфом ко всей поездке Фроста.

Днем в ту субботу он выступил со своими стихами перед сотрудниками американского посольства и их детьми. Он

обратился к ним: “Привет, чертовы янки”, — и дальше продолжал в том же духе. Крайне немногочисленная избранная публика была особенно отзывчива. Даже те, кто не интересовался поэзией, почувствовали, что прикоснулись к лучшей части Америки.

Визит подходил к концу. Несколько раз за эту поездку в минуты подавленности и уныния, когда ему казалось, что его встреча с Хрущевым не состоится и сам он будет отвергнут публикой, Фрост размышлял и говорил о близких ему людях, оставшихся в Бостоне, о том, каким дураком они должны его считать: отправился за границу на казенный счет без всякого смысла и толка. Но после столь очевидного успеха он думал о них с торжеством: теперь ему действительно было что предъявить. Он полностью сознавал, что его поездка имела успех. Поэтому он с еще большим нетерпением рвался назад, в привычный ему мир, где чувствовал себя непринужденно и снова мог приняться за работу.

Но мы улетали из Москвы только на следующее утро. На этот последний вечер был запланирован ужин у Твардовских — своеобразное символическое прощание, обещавшее скорую встречу. Хотя эта встреча так никогда и не состоялась, сам вечер, проникнутый русской сердечностью, может свидетельствовать об успехе посланнической миссии Фроста. Были Твардовские, Сурков и его жена, Дементьев (член редколлегии “Нового мира”) и его жена, кинорежиссер Козинцев, с которым мы познакомились в Ленинграде, и редактор журнала “Искусство”. Хозяева предложили щедрое угощение и приняли Фроста по-семейному, проявив горячее

русское гостеприимство. Жена Твардовского даже подарила Фросту баночку маринованных грибов.

В разгар вечера в квартире Твардовского на набережной Москвы-реки, когда все сидели за длинным столом, хозяева включили телевизор. За закусками и супом мы какое-то время смотрели “Бориса Годунова”. Потом на экране вдруг появился Фрост. Двадцатиминутный отрывок из часовой телепередачи был специально подготовлен для показа по телевидению в этот вечер по окончании первого акта, чтобы Фрост мог увидеть себя. Это была отличная запись; Фрост, Сурков и Евтушенко производили прекрасное впечатление. Все были очень довольны. Впоследствии эту передачу несколько раз показывали полностью, и она имела, насколько я знаю, огромный успех. Фрост читал стихи сотням, достигал сознания тысяч благодаря газетным репортажам, и миллионы видели его по телевизору. Его поездка не только прошла на высоком художественном уровне, но и имела успех в широких кругах. Он добился в России того, чего давно добился у себя на родине. Следующим утром в аэропорту, отвечая русскому журналисту, который попросил его на прощание поделиться своими впечатлениями о пребывании в России, он сказал: “Союз писателей сделал эту поездку одним из самых значительных событий в моей жизни. Я получил возможность выразить свое восхищение вашей могущественной страной, которой суждено еще долгие годы быть нашим соперником. Я глубоко признателен вам за щедрое гостеприимство. — Он сделал паузу. — Я много раз говорил об этих впечатлениях — в Москве, в Ленинграде и в Гагре”. Улыбнувшись и помахав на прощанье Мэтлоку, Суркову и Твардовскому, Зенкевичу и Кашкину, распорядительницам и журналистам, он со Стюартом Юдаллом, задержавшимся на день в Москве, чтобы лететь домой вместе с Фростом, поднялся по трапу в советский самолет, который должен был доставить нас в Париж.

На следующий день “Правда” опубликовала фотографию Фроста, четыре новых перевода его стихотворений и длинную статью Суркова, которая подводила итоги визита Фроста и заканчивалась следующим пассажем:

”И у меня... сложилось впечатление, что мы проводили на родину честного и искреннего друга, во многом по-иному, чем мы, понимающего решение важнейших проблем времени, но искренне стремящегося очистить взаимоотношения народов США и СССР от всего наносного и предвзятого, работать в пользу дружбы, взаимного понимания и доверия.

Пожелаем Роберту Фросту защищать его идеалы мирного соревнования двух систем с такой же молодой энергией, с какой звучат его стихи, какую проявил он, встречаясь с советскими людьми!”

В воскресенье в пять часов вечера мы снова были в Нью-Йорке. На обратном пути Фрост повторил то, что уже неоднократно говорил: “Мы и Россия... может пройти двести лет, прежде чем этот конфликт разрешится. Вот вам одна из неприятностей, связанных со смертью: приходится уходить, так и не узнав, чем все закончится”. На пресс-конференции в аэропорту “Айдлуайлд” на вопрос журналиста, не планирует ли он вновь посетить Россию, он ответил шуткой: “Да, когда стану старше и мудрее”.

ПЕРЕВОДЫ

Стихотворения Роберта Фроста в переводе Владимира Кормана с его комментариями.

(Часть 2-я продолжение)

«**Корман Владимир Михайлович**
автор-любитель, родом из города Владимира (вне союзов, объединений, групп и кружков). Сочинитель стихов, палиндромов, венков сонетов и всякой всячины.»

Рекордный шаг

В Вермонте, в спальне, у меня есть шкафчик.
Дверь - две доски, а сзади - дымоход.
Он старый и уже почти разрушен.
(Из дверцы два носка глядят вперёд).

Там я поставил два своих ботинка,
что вечно бегали вперегонки,
былых соперников из дряблой кожи
и вместе доживающих деньки.

Они, покоясь в спальне, молчаливы,
хотя охотно завели бы речь,
сгодятся ли ещё мне для прогулок
и как я собираюсь их беречь.

Всего лишь год назад, спасая шляпу,
я в Монтоке* топил один башмак.
В Клифф-Хаусе** в отчаянном потоке
я и другой мочил за просто так.

Меня случайно два различных внука
два раза затащили в круговерть.
Надеюсь, если это прочитают,
не скажут, что крутился будто жердь.

Теперь, когда лизну свои ботинки,
язык, надеюсь, распознает их юдоль,
они купались в Тихом океане,
вобрали атлантическую соль.

Один шажок в Великом океане -
рекордный шаг, достойный всяких хвал,

и обувь, что такое совершила,
я б дёшево уже не продавал.

Я с гордостью их посвящаю музе
и помещаю в собственный музей.
Как ни грубы, пусть их минует участь
изящных, но изношенных друзей.

Прошу, однако, чтобы мне простили
хвастливый тон в восторженных стихах:
пространства всех Соединённых Штатов
не обойдёшь в бессменных башмаках.

A Record Stride

In a Vermont bedroom closet
With a door of two broad boards
And for back wall a crumbling old chimney
(And that's what their toes are towards),

I have a pair of shoes standing,
Old rivals of sagging leather,
Who once kept surpassing each other,
But, now live even together.

They listen for me in the bedroom
To ask me a thing or two
About who is too old to go walking,
With too much stress on the who.

I wet one last year at Montauk*
For a hat I had to save.

The other I wet at the Cliff House
In an extra-vagant wave.

Two entirely different grandchildren
Got me into my double adventure.
But when they grow up and can read this
I hope they won't take it for censure.

I touch my tongue to the shoes now
And unless my sense is at fault,
On one I can taste Atlantic,
On the other Pacific, salt.

One foot in each great ocean
Is a record stride or stretch.
The authentic shoes it was made in
I should sell for what they would fetch.

But instead I proudly devote them
To my museum and muse;
So the thick-skins needn't act thin-skinned
About being past-active shoes.

And I ask all to try to forgive me
For being as over-elated
As if I had measured the country
And got the United States stated.

1936 "A Further Range".

Примечания.

***Montauk - Монток** - живописная местность на восточной оконечности острова Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк.

****Cliff House** - название нескольких приморских гостиниц и ресторанов в разных районах США, в том числе на тихоокеанском побережье.

Одинокий забастовщик

Фабричные гудки грубы.
Они звучат как зов судьбы.
Народ спешит на зов сигнала.
Один в ворота не прошёл.
Какая ж сила помешала?
Какой жестокий произвол? -
Он опоздал. Закрылись двери -
на полчаса по крайней мере.
Он потерял свои гроши.
Он осуждён и изгнан сразу
прочь с фабрики. В ней нет души,
хотя и очень многоглаза.
Теперь снаружи попляши!
Смотри сквозь стёкла на машину,
что чуть видна в слепом окне,
как брошенная сиротина,
без дела, по твоей вине,
и замерла в нежданном сне.

Ему мерещится картина:
цех, полный пылью шерстяной,
немолчный шум и влажный зной
и уйма движущейся пряжи
сплошной растянутой волной,
меж шпулек в лёгком напряженье,
чтоб не порвалась при движенье.
Когда ж рванёт какой-то шкив,
прядильщик устранит обрыв.
Прядильщик здесь, чтоб не рвалось
и не ходило вкось да врозь.
Рабочему нужна сноровка,
и пальцы двигаются ловко,

хватаясь за любой ползун
как в арфе до звучащих струн.
Рука отлаживает связи,
едва в работе недочёт.
Мгновенно при любом отказе
он всё приводит в мерный ход.
Чтоб техника служила кротко,
рабочим помогает смётка.

Но нынче сам он восстаёт:
дух рвётся в чащи, на утёсы,
как если б он взошёл на склон,
касаясь там древесных крон.
Ах, если б…! Вечные запросы!
Он знает верный путь туда,
где ключ и чистая вода,
где был бы в полном упоенье
в сплошном зелёном окруженье.
Но мысль его была в стремленье,
не кончить дело болтовнёй.
И страсть искала обновленья -
в мечте не быть пустой вознёй.

Он ждал от фабрики прогресса
и современных скоростей.
Он знал, что там не служат мессы.
Там место для иных затей,
и фабрика совсем не храм,
но из контор любых мастей
всего достойней всех честей.
Поэтому решил в сердцах:
вдруг промысел потерпит крах,
поскольку он теперь в бегах,
то, чтобы смыть и стыд, и срам,
что станет мучить всё лютей,
он не запрячется в кустах.
Пускай придут. Пусть сыщут там.

A Lone Striker

The swinging mill bell changed its rate
To tolling like the count of fate,
And though at that the tardy ran,
One failed to make the closing gate.
There was a law of God or man
That on the one who came too late
The gate for half an hour be locked,
His time be lost, his pittance docked.
He stood rebuked and unemployed.
The straining mill began to shake.
The mill, though many-many-eyed,
Had eyes inscrutably opaque;
So that he couldn't look inside
To see if some forlorn machine
Was standing idle for his sake.
(He couldn't hope its heart would break.)

And yet he thought he saw the scene:
The air was full of dust of wool.
A thousand yarns were under pull,
But pull so slow, with such a twist,
All day from spool to lesser spool,
It seldom overtaxed their strength;
They safely grew in slender length.
And if one broke by any chance,
The spinner saw it at a glance.
The spinner still was there to spin.
That's where the human still came in.
Her deft hand showed with finger rings
Among the harplike spread of strings.

She caught the pieces end to end
And, with a touch that never missed,
Not so much tied as made them blend.
Man's ingenuity was good.
He saw it plainly where he stood,
Yet found it easy to resist.

He knew another place, a wood,
And in it, tall as trees, were cliffs;
And if he stood on one of these,
'Twould be among the tops of trees,
Their upper branches round him wreathing,
Their breathing mingled with his breathing.
If-...if he stood! Enough of ifs!
He knew a path that wanted walking;
He knew a spring that wanted drinking;
A thought that wanted further thinking;
A love that wanted re-renewing.
Nor was this just a way of talking
To save him the expense of doing.
With him it boded action, deed.

The factory was very fine;
He wished it all the modern speed.
Yet, after all, 'twas not divine,
That is to say, 'twas not a church.
He never would assume that he'd
Be any institution's need.
But he said then and still would say,
If there should ever come a day
When industry seemed like to die
Because he left it in the lurch,
Or even merely seemed to pine
For want of his approval, why,
Come get him - they knew where to search.

1936 "A Further Range".

Присел на солнце у куста

Сегодня небеса без туч.
Легко ловлю рукою луч.
В лице и в пальцах ощущенье
прямого жаркого свеченья.

На время вдруг прервался штиль,
и поднялась густая пыль.
И люд, и мошки ощутили,
что жар чуть стих от этой пыли.

Подсушенный светилом пот,
как жар смирился, тише льёт.
И нет усмешек. Что за важность
неощущаемая влажность?

В какой-то стародавний срок
вёл речь из купины сам Бог.
Потом Господь ушёл в пустыню
и не является к нам ныне.

Бог был доступен для бесед
и проливал, как солнце, свет.
Оно нас греет в зримой сфере,
а Бог крепил нас в нашей вере.

Sitting by a Bush in Broad Sunlight

When I spread out my hand here today
I catch no more than a ray
To feel of between thumb and fingers;
No lasting effect of it lingers.

There was one time and only the one
When dust really took in the sun;
And from that one intake of fire
All creatures still warmly suspire.

And if men have watched a long time
And never seen sun-smitten slime
Again come to life and crawl off,
We not be too ready to scoff.

God once declared he was true
And then took the veil and withdrew,
And remember how final a hush
Then descended of old on the bush.

God once spoke to people by name.
The sun once imparted its flame.
One impulse persists as our breath;
The other persists as our faith.

1928 "West-Running Brook".

Ганнибал

Дрались отчаянно и смело
и пали, не осилив дела.
Уже давно подробности забыты,
но молодёжь, оплакав, их воспела.

Вариант 2.
Дрались на совесть и во страх,
но пали, и развеян прах.
Идёт молва об их делах,
и юность, с грустью, славит их в стихах.

Hannibal

Was there even a cause too lost,
Ever a cause that was lost too long,
Or that showed with the lapse of time to vain
For the generous tears of youth and song?

1928 "West-Running Brook"

Семейство роз

Простой шиповник -
из семейства роз.
Задай вопрос -
узнаешь, что садовник
туда ж и яблоню отнёс,

рябину, сливу, абрикос.
В порядке том же и тутовник.
(Но не крыжовник.
Там ни берёз и ни мимоз).
Тебе ж, как искренний любовник,
скажу: ты - лучшая из роз.
Ты, милая, всегда цвела меж роз.

The Rose Family

The rose is a rose,
And was always a rose.
But the theory now goes
That the apple's a rose,
And the pear is, and so's
The plum, I suppose.
The dear only knows
What will next prove a rose.
You, of course, are a rose -
But were always a rose.

1928 "West-Running Brook".

Примечание.

В интернете можно найти переводы стихотворения «The Rose Family» на русский язык, сделанные Валерием Савиным и Павлом Квартальновым.

Иммигранты

Как память о судовой веренице,
свозившей в Новый Свет людей издалека,
ночами мне всё время снится
путь пилигримов с "Майского Цветка".

Immigrants

No ship of all that under sail or steam
Have gathered people to us more and more
But Pilgrim-manned the Mayflower in a dream
Has been her anxious convoy in to shore.

1928 "West-Running Brook"

Примечание.
В интернете можно найти переводы стихотворения «Immigrants» на русский язык, сделанные Е.Лобановой (и, возможно, другие).

Вповалку

Дождь ветру предложил:
"Ты дунь! Я хлыну как из кадки".
Один наддал, другой полил.
Цветы легли на грядке
вповалку и без сил.
Те ласки были им не сладки.

Lodged

The rain to the wind said,
'You push and I'll pelt.'
They so smote the garden bed
That the flowers actually knelt,
And lay lodged - though not dead.
I know how the flowers felt.

1928 "West-Running Brook"

Пыль в глазах

Как говорят, с замусоренным зреньем
навряд ли скажешь что-то с разуменьем.
Что ж, испытаем, я не прекословлю.
Пусть нынче снег летит в глаза мне с кровли.
Пусть ветер пылью застит мне лазурь.
Так замолчу ли? Понесу ли дурь?

Dust in the Eyes

If, as they say, some dust thrown in my eyes
Will keep my talk from getting overwise,
I'm not the one for putting off the proof.
Let it be overwhelming, off a roof

And round a corner, blizzard snow for dust,
And blind me to a standstill if it must.

1928 "West-Running Brook".

Примечание.

Стихотворение «Dust in the Eyes» было неоднократно переведено на русский язык, в том числе Андреем Пустогаровым, Вадимом Беляковым, Натальей Дробицькой.

Охапка

Я каждой вещи кланяюсь, чтоб взять.
Другие тотчас падают опять.
Скользит вся груда: склянки, пачки, сдоба.
Всё валится из рук, хоть смотришь в оба.
Стараюсь, не терпя любых потерь,
не быть ни из растяп, ни из тетерь.
Зову, чтоб ловко унести всё разом
на помощь и внимание, и разум.
Хочу, упорно сберегая шанс,
блюсти в своём движении баланс.
Как ни держусь, гора упасть готова.
Но вот свалилась. Сел. Гружу всё снова.

The Armful

For every parcel I stoop down to seize
I lose some other off my arms and knees,
And the whole pile is slipping, bottles, buns -
Extremes too hard to comprehend at once,

Yet nothing I should care to leave behind
With all I have to hold with hand and mind.
And heart, if need be, I will do my best
To keep their building balanced at my breast.
I crouch down to prevent them as they fall;
Then sit down in the middle of them all.
I had to drop the armful in the road
And try to stack them in a better load.

1928 "West-Running Brook"

Примечание.

Стихотворение «The Armful» было переведено на русский язык неоднократно, в том числе В.Хлебниковым, Василием Байтовым, Максимом Советовым, Борисом Зверевым.

Отсчёт времени

У родника, где их ждала стоянка,
всегда висела треснувшая склянка.
Когда хотелось, старый фермер пил.
В кобыле ж вечно пробуждался пыл:
всё время морду со звездою
тянула ближе к водопою.
Она, напрягшись, муторно вздыхала,
когда её телега застревала.
А фермер выговаривал ей так:
"Что ни стенанье - к смерти шаг.
Вот и жене твержу я с укоризной,
чтоб не была ворчливой и капризной"...
Сентенция, конечно, не нова,
но я не повторял бы те слова.
Я убеждён, что пользы в них не много.
Напротив, это даже вредный бред -
как мысль закрыть и ферму, и дорогу.

Нельзя прожить без горестей и бед.
Они исчезнут лишь с концом народа -
взамен вернётся дикая природа.

The Times Table

More than halfway up the pass
Was a spring with a broken drinking glass,
And whether the farmer drank or not
His mare was sure to observe the spot
By cramping the wheel on a water-bar,
Turning her forehead with a star,
And straining her ribs for a monster sigh;
To which the farmer would make reply,
'A sigh for every so many breath,
And for every so many sigh a death.
That's what I always tell my wife
Is the multiplication table of life.'
The saying may be ever so true;
But it's just the kind of a thing that you
Nor I, nor nobody else may say,
Unless our purpose is doing harm,
And then I know of no better way
To close a road, abandon a farm,
Reduce the births of the human race,
And bring back nature in people's place.

1928 "West-Running Brook".

Примечание.

Стихотворение «The Times Table» можно найти в Интернете в переводах на русский язык В.Хлебникова и Вадима Белякова.

Тому, кто смотрит в звёзды наудачу

Ты ожидаешь роковых явлений,
пытливый взгляд за гряды туч гоня,
сквозь трепетность полярного сиянья,
а там светила мчат без столкновений,
встречаются без грома и огня.
И рой планет штурмует расстоянья,
не покидая вековых орбит.
Нам нужно, не тревожась, жить спокойно,
не глядя на светила и в зенит,
и внять неповреждёнными умами,
что засухи кончаются дождями,
а всякий мир в Китае сменят войны.
Так пусть не ждёт награды, кто готов
не спать ночами, ожидая катастроф.
Понять уже по опыту несложно,
что нынче ночью небеса надёжны.

On looking up by chance at the constellations

You'll wait a long, long time for anything much
To happen in heaven beyond the floats of cloud
And the Northern Lights that run like tingling nerves.
The sun and moon get crossed, but they never touch,
Nor strike out fire from each other nor crash out loud.
The planets seem to interfere in their curves
But nothing ever happens, no harm is done.
We may as well go patiently on with our life,

And look elsewhere than to stars and moon and sun
For the shocks and changes we need to keep us sane.
It is true the longest drouth will end in rain,
The longest peace in China will end in strife.
Still it wouldn't reward the watcher to stay awake
In hopes of seeing the calm of heaven break
On his particular time and personal sight.
That calm seems certainly safe to last to-night.

1928 "West-Running Brook".

Примечание.

Стихотворение «On looking up by chance at the constellations» можно найти в интернете в переводах на русский язык Алёны Алексеевой, Бориса Зверева и Вадима Белякова.

Вложение

Хоть делу соответствовало мало,
они прозвали жизнь житьём-бытьём,
но заново покрасили весь дом
и музыка в нём громко зазвучала.

На поле помогала им машина.
Они растили сочные корма.
По зимним дням летело до холма
из их окон бренчанье пианино.

Шик-блеск и треск! - Не каждый их поймёт.
Небось легко расправились с доходом,
что подвалил влюблённым сумасбродам?
Не то решили сбросить груз забот -

устали от расчётов и опасок
и захотелось музыки и красок.

The Investment

Over back where they speak of life as staying
('You couldn't call it living, for it ain't'),
There was an old, old house renewed with paint,
And in it a piano loudly playing.

Out in the plowed ground in the cold a digger,
Among unearthed potatoes standing still,
Was counting winter dinners, one a hill,
With half an ear to the piano's vigor.

All that piano and new paint back there,
Was it some money suddenly come into?
Or some extravagance young love had been to?
Or old love on an impulse not to care -

Not to sink under being man and wife,
But get some color and music out of life?

1928 "West-Running Brook"

Примечание.

В интернете есть упоминание, что есть перевод стихотворения «The investment» на русский язык, сделанный Вячеславом Толстовым. На сайте «Стихи.Ру» опубликован интересный перевод этого стихотворения, но без указания имени переводчика.

Обоюдное откровение

Я весь напрягся до предела
в мечте представить как-нибудь,
в чём сокровенная суть дела,
когда дорогой в храм Кибелы
впервые вышел в дерзкий путь.

Куда ж пойду оттуда следом?
С чем встречусь? С чем я выйду вон?
Все мысли были полубредом.
Исход был тёмен и неведом,
рассудок странно напряжён.

Без опыта, не по методе,
не зная, где добыть ключи,
я только постучал при входе.
Там в кристаллической жеоде
цвели катодные лучи.

В ответ очам блистали очи
похищенным у звёзд огнём.
Наш путь к светилам стал короче.
Невинность не страшилась ночи.
До сути мы дошли вдвоём.

All Revelation

A head thrusts in as for the view,
But where it is it thrusts in from
Or what it is it thrusts into
By that Cyb'laean avenue,
And what can of its coming come,

And whither it will be withdrawn,
And what take hence or leave behind,
These things the mind has pondered on
A moment and still asking gone
Strange apparition of the mind!

But the impervious geode
Was entered and its inner crust
Of crystals with a ray cathode
At every point and facet glowed
In answered to the mental thrust.

Eyes seeking the response of eyes
Bring out the stars, bring out the flowers,
Thus concentrating earth and skies
So none nee be afraid of size.
All revelation has been ours.

1942 "A Witness Tree".

Примечание.

В интернете не удалось найти переводов стихотворения «All Revelation» на русский язык. Возможно это связано с техническими трудностями перевода, либо с несколько загадочным смыслом стихотворения. Впрочем, американские комментаторы высказывают мнение, что в этих стихах поэт делится своим нелёгким юношеским опытом, в период, когда в нём впервые пробуждались сердечные чувства.

Мыслящему политику

Последний шаг ты сделал влево.
Куда нога - туда и чрево.
Теперь направо будет шаг -
качаешься и так, и так.
И это всё - не размышленья,

а суетливые движенья.
Как конь, запряженный в возок, -
то прямо скок, то вбок рывок.
Откормленный, в отличной форме,
то мчишься бешено, то в норме.
Хомут то жмёт, то чуть отлип.
То ржёшь ты, то из горла хрип.
Рванёшь - доводишь до испуга
с тобою едущего друга.
Вот! Ты уже не демократ.
(Тому, что был им, сам не рад).
Теперь ты склонен к диктатуре,
но, оказавшись в новой шкуре,
ты осчастливишь целый свет
и скоро примешь прежний цвет.
Ты - краснобай и славный малый,
но, снисходя, людей не балуй,
а дашь слабину - будь готов
предстать объектом для смешков.

При неимении программы
останься сам собой упрямо,
реализуя свой талант, -
будь гибок. Ты же не педант.
Я сам порой без упований
от многих преобразований.
Но, если те уже в ходу,
не стой заслоном на виду.
А если нужно повиниться
за то, что ставил палки в спицы,
поверь - в упрямстве смысла нет.
Я - опытен. Ведь я - поэт.

To a Thinker

The last step taken found your heft
Decidedly upon the left.
One more would throw you on the right
Another still—you see your plight.
You call this thinking, but it's walking.
Not even that, it's only rocking,
Or weaving like a stabled horse:
From force to matter and back to force,
From form to content and back to form,
From norm to crazy and back to norm,
From bound to free and back to bound,
From sound to sense and back to sound.
So back and forth. It almost scares
A man the way things come in pairs.
Just now you're off democracy
(With a polite regret to be)
And leaning on dictatorship;
But if you will accept the tip,
In less than no time, tongue and pen,
You'll be a democrat again.
A reasoner and good as such,
Don't let it bother you too much
If it makes you look helpless, please,
And a temptation to the tease.

Suppose you've no direction in you,
I don't see but you must continue
To use the gift you do possess,
And sway with reason more or less.
I own I never really warmed
To the reformer or reformed.
And yet conversion has its place
Not halfway down the scale of grace.
So if you find you must repent
From side to side in argument,

At least don’t use your mind too hard,
But trust my instinct — I’m a bard.

1936 "A Further Range".

Примечание.

В интернете переводов стихотворения «To a Thinker» на русский язык, к сожалению, найти не удалось.

Древнее послание

Давным-давно в пещере Мас д'Азил*
на круглой гальке кто-то поместил,
два красные пятна с чертой под ними.
Промчались миллионы всяких гроз,
должно быть не одно оледененье,
пока мне не досталось то творенье,
головоломное изображенье,
Загадочное древнее письмо:
две точки и черта - как пламя,
почти физиономия с устами.
Но сразу же сомненье и вопрос:
неужто эти пятна - капли слёз?
Слезинка слева и другая - справа?
И на устах читалась не забава.
Верней не то: глаза и рот красны.
Не слёзные следы - кровавые видны.
Черта, должно быть, меч обозначала,
и смерть ждала пославшего мне весть.
Ему хотелось, чтоб потомство знало,
что жертвою он стал, приняв обет,
но ни дрожать, ни скрыться не намерен,
поскольку был сознательно уверен,
что на отказ от смерти права нет.
Мой друг, добытчик редкого предмета! -

Ты - славный следопыт, а не посыльный.
Ты смог киркой реликвию извлечь.
Она досталась мне как эстафета,
но я - увы! - не напишу ответа.
Уже давно погиб корреспондент.
Меж нами вечный льдистый континент.
Представь себе, что он - как призрак - где-то
поблизости, чтоб нас предостеречь,
и непрестанно шепчет нам советы.
Сколь многие не могут различать
значенья форм и переливов света,
не чутки ни к оттенкам, ни к цветам,
к метафорам и смыслам, скрытым там.
(Я это вижу по людским глазам).
Все слепы так, что всё во мне взроптало,
как ропщет вся лесная благодать.
В моих руках горят охряным цветом
на кремешке - черта и два пятна.
Каков их смысл? Кого спросить об этом?
Своя ж разгадка самому страшна.
Мы глухи к первобытным этикетам,
к давно забытым нравам и обетам.
Нам даже и свои - не по нутру:
ни те, что намечаем поутру,
ни те, что наблюдаем ввечеру.
Между двух душ - обычно бездна.
Такая присказка вечна,
и спорить с нею бесполезно,
но ложь, что встреча душ исключена. -
Есть мрачный берег, где слышна
"одна тоска в любые времена,
которая невесть кому любезна...
(А меж двух душ - обычно бездна)"**.

A Missive Missile

Someone once in ancient Mas d'Azil*
Once took a little pebble wheel
And dotted it with red for me,
And sent it to me years and years
A million years to be precise
Across the barrier of ice:
Two round dots and a ripple streak,
So vivid as to seem to speak.
But what imperfectly appears
Is whether the two dots were tears,
Two tear drops, one for either eye,
And the wave line a shaken sigh.
But no, the color used is red.
Not tears but drops of blood instead.
The line must be a jagged blade.
The sender must have had to die,
And wanted some one now to know
His death was sacrificial- votive.
So almost clear and yet obscure.
If only anyone were sure
A motive then was still a motive.
O you who bring this to my hand,
You are no common messenger
(Your badge of office is a spade).
It grieves me to have had you stand
So long for nothing. No reply
There is no answer, I'm afraid,
Across the icy barrier
For my obscure petitioner.
Suppose his ghost is standing by
Importunate to give the hint
And be successfully conveyed.
How anyone can fail to see
Where perfectly in form and tint
The metaphor, the symbol lies!

Why will I not analogize?
(I do too much in some men's eyes.)
Oh slow uncomprehending me,
Enough to make a spirit moan
Or rustle in a bush or tree.
I have the ochre- written flint,
The two dots and the ripple line.
The meaning of it is unknown,
Or else I fear entirely mine,
All modern, nothing ancient in't,
Unsatisfying to us each.
Far as we aim our signs to reach,
Far as we often make them reach,
Across the soul-from-soul abyss,
There is an aeon-limit set
Beyond which they are doomed to miss.
Two souls may be too widely met.
That sad-with-distance river beach
"With mortal longing may beseech;
It cannot speak as far as this.

(1934) 1936 "A Further Range".

Примечания.

В интернете переводов стихотворения «A Missive Missile» на русский язык найти не удалось. Стихотворение завершает сборник "A Further Range" и, по-видимому, не случайно: может быть, автор хотел сказать, что, как доисторическая раскрашенная галька, попавшая ему в руки, его стихи тоже являются чем-то вроде послания людям следующих эпох.

***Мас д'Азил** - пещера в Пиренеях, во французском департаменте Арьеж, известная множеством находок предметов эпохи мезолита, относящихся к так называемой азильянской культуре.

**Отдельные американские комментаторы считают, что окончание фростовского стихотворения перекликается с несколькими строками 6-й книги "Энеиды" Виргилия. (Например, указывают на строку 6.314).

Опасение

Кричат: "Эй, Ветер, мы летим с тобой!"
И рвутся вслед все листья с черешками.
Но сон их одолел и дал отбой.
Так новый крик: "Останься, Ветер, с нами!"

С тех пор, как даль взманила по весне,
листвой владели мысли о полёте,
а нынче рада бы прильнуть к стене,
укрыться на ночь в чаще или в гроте.

Хоть Ветер в вихри тщится их завлечь,
но в листьях дрожь, как будто в знак протеста.
У Ветра завлекательная речь,
листва уже не внемлет - и ни с места.

Я был свободен, но скучал в Отчизне.
Я в поиск рвался с вечною тоской.
Мог выбраться из пут обычной жизни -
когда б не выбрал для себя покой.

Misgiving

All crying, 'We will go with you, O Wind!'
The foliage follow him, leaf and stem;
But a sleep oppresses them as they go,
And they end by bidding them as they go,
And they end by bidding him stay with them.

Since ever they flung abroad in spring
The leaves had promised themselves this flight,

Who now would fain seek sheltering wall,
Or thicket, or hollow place for the night.

And now they answer his summoning blast
With an ever vaguer and vaguer stir,
Or at utmost a little reluctant whirl
That drops them no further than where they were.

I only hope that when I am free
As they are free to go in quest
Of the knowledge beyond the bounds of life
It may not seem better to me to rest.

1923 "New-Hampshire".

Примечание.

К сожалению, переводов стихотворения «Misgiving» в интернете отыскать не удалось.

Неуж в конце концов никто не станет ощущать того пути?

Атлантика! Ты очень велика:
разъединяешь нас со Старым Светом.
А нынче стал велик и Новый Свет.
Хоть ты убеждена наверняка,
что те миры различны по приметам,
но разницы уже почти что нет.

Мы, как индейцы, сеяли маис.
В Европе он был назван кукурузой,
теперь же там и здесь едят попкорн.
Единый мир - вот общий наш девиз.
Планета стала малой и кургузой -
езжай хоть с Полюсов до мыса Горн.

Маршруты испещрили океан.
Летаем и плывём быстрее пули.
Весь транспорт скор, и путь не так рисков.
Моря уже не разделяют стран
и связи государств не разомкнули.
Материки - как замки между рвов.

Взвой море! Размельчай ракушки в прах
и выноси всю муть свою на берег.
Мне не смирить в тебе ни гнев, ни боль.
Весенняя вода, скопясь в горах,
вольётся разом в реки двух Америк -
и пусть уж не горчит морская соль.

Я подберу что ты сочтёшь за хлам -
разбитый перламутр в морской капусте -
и, выбрав самый лучший образец,
подам совет: "Трудись теперь для дам.
Точи его теперь, лечась от грусти.
Наделай дамам брошей и колец!"

Всё это океан уже слыхал,
но не смирился ни на миг единый -
смеётся. Что ж? Мне ведомо, куда
идти, чтоб не застигнул шквал,
не пахло рыбой и морскою тиной,
где не шумит, не плещется вода.

В большой дали, среди материка,
об океанах помнят только в школе.
Учительница может для ребят
начать рассказ о них издалека -
о том, что важно было нам дотоле
и моряке по имени Синдбад.

Does No One at All Ever Feel This Way in the Least?

O ocean sea, for all your being vast,
Your separation of us from the Old
That should have made the New World newly great
Would only disappoint us at the last
If it should not do anything foretold
To make us different in a single trait.

This though we took the Indian name for maize
And changed it to the English name for wheat.
It seemed to comfort us to call it corn.
And so with homesickness in many ways
We sought however crudely to defeat
Our chance of being people newly born.

And now, O sea, you're lost by aeroplane.
Our sailors ride a bullet for a boat.
Our coverage of distance is so facile
It makes us to have had a sea in vain.
Our moat around us is no more a moat,
Our continent no more a moated castle.

Grind shells, O futile sea, grind empty shells
For all the use you are along the strand.
I cannot hold you innocent of fault.
Spring water in our mountain bosom swells
To pour fresh rivers on you from the land,
Till you have lost the savor of your salt.

I pick a dead shell up from where the kelp
Lies in a windrow, brittle-dry and black,
And holding it far forward for a symbol
I cry, "Do you work for women—all the help
I ask of you. Grind this I throw you back
Into a lady's finger ring or thimble."

The ocean had been spoken to before.
But if it had no thought of paying heed
To taunt of mine I knew a place to go
Where I need listen to its rote no more,
Nor taste its salt, nor smell its fish and weed
Nor be reminded of them in a blow —

So far inland the very name of ocean
Goes mentionless except in baby-school
When teacher's own experiences fail her
And she can only give the class a notion
Of what it is by calling it a pool
And telling them how Sinbad was a sailor.

1962 "In the Clearing".

Примечание.
К сожалению, найти русские переводы этого стихотворения с помощью интернета не удалось.

Обиженный цветок

Она забилась в уголок
и вся горела, будто пламя,
держа, как щит, в руке цветок,
а парень жёг ладонь губами.
Он пылко улыбнулся ей -
казалось, что она ослепла.
Огонь сменила серость пепла.
Теперь он стал глядеть смирней -
в недоуменье и с опаской.
Толкнул ладонь - упал цветок.
Улыбка сделалась мутней.
Он поневоле стиснул зубы,
в углах у рта сомкнулись губы.

Лицо сменилось грубой маской.
Она была в сплошной траве
по самый пояс, и мятежно
рассыпалась на голове
блестящая волна волос.
Он протянул к ней руки нежно -
хотел обнять, не вызвав слёз.
Не мог сдержать своей натуры
и не коснуться шевелюры.
"Ведь хочется не только мне,
раз с ней мы тут наедине" -
ей чудились его резоны.
Казалось, брызжет соком гроздь,
которой ублажают гостя,
казалось тигр, смиряя злость,
сгрызает с аппетитом кости.
Она ж была без обороны,
а тут безудержный повеса,
что мог сломать её, как трость,
набрался храбрости от беса,
ведёт себя, как зверь из леса.
И нет возможности сбежать...
Но позвала из сада мать.
Девица, пряча страх, без слова,
следила за эффектом зова:
не нападёт ли этот тать,
покуда матери не видно?
Глазам не верит: парню стыдно.
Рука повисла, будто плеть,
другой стал ласково вертеть,
свою агрессию закончив.
Он выдал вкрадчивый смешок,
лишь скрыть своих гримас не смог,
и взгляд, смутившись, стал уклончив.
Девица ясно поняла,
что тот цветок обидел друга,
зато постигнуть не могла,

что не цветок причина зла -
к примеру, будто дурно пах
каким-то очень острым перцем -
а просто парню стало туго,
что встретился с нечутким сердцем,
вот и швырнул цветок в сердцах.
И ей всё худшее открылось:
все твари, встретивши препону,
покорны общему закону:
мгновенно убежит, кто хил,
другой взревёт, когда уколот.
И друг, как только впал в немилость,
немедля руки распустил,
расстроясь, что не угодил.
Беда, что он был слишком молод
и, оскорбив девичий вкус,
отпор воспринял как укус,
дразнивший злой сердечный голод.
И ей всё это шло не в плюс.
И губы увлажнял не солод.
Явилась мать, обтёрла рот.
Упавший гребень подаёт
и провожает до ворот.

The Subverted Flower

She drew back; he was calm:
"It is this that had the power."
And he lashed his open palm
With the tender-headed flower.
He smiled for her to smile,
But she was either blind
Or willfully unkind.

He eyed her for a while
For a woman and a puzzle.
He flicked and flung the flower,
And another sort of smile
Caught up like fingertips
The corners of his lips
And cracked his ragged muzzle.
She was standing to the waist
In golden rod and brake,
Her shining hair displaced.
He stretched her either arm
As if she made it ache
To clasp her - not to harm;
As if he could not spare
To touch her neck and hair.
"If this has come to us
And not to me alone -"
So she thought she heard him say;
Though with every word he spoke
His lips were sucked and blown
And the effort made him choke
Like a tiger at a bone.
She had to lean away.
She dared not stir a foot.
Lest movement should provoke
The demon of pursuit
That slumbers in a brute.
It was then her mother's call
From inside the garden wall
Made her steal a look of fear
To see if he could hear
And would pounce to end it all
Before her mother came.
She looked and saw the shame:
A hand hung like a paw,
An arm worked like a saw
As if to be persuasive,

An ingratiating laugh
That cut the snout in half,
And eye become evasive.
A girl could only see
That a flower had marred a man,
But what she could not see
Was that the flower might be
Other than base and fetid:
That the flower had done but part,
And what the flower began
Her own too meager heart
Had terribly completed.
She looked and saw the worst.
And the dog or what it was,
Obeying bestial laws,
A coward save at night,
Turned from the place and ran.
She heard him stumble first
And use his hands in flight.
She heard him bark outright.
And oh, for one so young
The bitter words she spit
Like some tenacious bit
That will not leave the tongue.
She plucked her lips for it,
And still the horror clung.
Her mother wiped the foam
From her chin, picked up her comb,
And drew her backward home.

1942 "Witness Tree"

Примечания.

Стихотворение Роберта Фроста «The Subverted Flower» по содержанию и стилю напоминает стихи из его первой книги. Стихотворение было написано намного раньше, чем опубликовано. Поэт позволил себе включить его в очередной сборник лишь спустя четыре года после смерти своей жены. В стихотворении поэт откровенно рассказывает о своём раннем юношеском сердечном опыте. Стихотворение широко известно на родине поэта, но в Интернете его переводов на русский язык найти не удалось.

*Голубая лента Эймсбери **

Этой птице знак атласный
присуждён единогласно.
Ей на выставках блистать
даже в Бостоне подстать.

У красотки этой нежной
весь плюмаж как белоснежный,
из коралла гребешок,
золотая пара ног.

Всем бы нужно подивиться
этой превосходной птицей.
Вот с таких свой идеал
мистер Sewell** рисовал.

Если мы трезвей рассудим,
в ней найдём пример и людям:
клюй до ночи, не спеша, -
не встревожится душа.

Птицевод, до славы падкий,
не сводил свой взор с хохлатки,
стоя в птичнике с ведром
и мечтая о своём.

Стены были там немыты,
большинство дверей забито,
чтоб спастись от непогод.
На полу лежал помёт.

Он же всё смекал, как ценны
будут курочкины гены,

если вывести сейчас
пару новых птичьих рас.

Курочка шесть дней в неделю
безо всякой канители
выдавала по яйцу,
лишь брала отгул к концу.

Яйца ж - просто, без сомненья,
хороши на загляденье -
с яркой плотной скорлупой -
расхвалил бы и слепой.

А сама она практична.
Ест. Ей люди безразличны.
Прекращает, лишь заснув,
а не ест, так чистит клюв.

Часом пёрышки встряхнёт,
часом камушек сглотнёт.
Нагуляется, поест
и взлетает на насест.

Тот насест - предел полёта.
Наверху толкнёт кого-то.
Начинается возня,
но уступчива родня.

Ночью ветер бьёт с разбегу,
насыпает в окна снегу,
но беды особой нет -
лишь кудахтанье в ответ.

Пусть на улице всё хуже:
снег да ветер, тьма и стужа -
в перьях, в птичнике, - теплей.
Здесь и людям веселей.

*Blue Ribbon Amesbury**

Such a fine pullet ought to go
All coiffured to a winter show,
And be exhibited, and win.
The answer is this one has been -

And come with all her honors home.
Her golden leg, her coral comb,
Her fluff of plumage, white as chalk,
Her style, were all the fancy's talk

It seems as if you must have heard.
She scored an almost perfect bird.
In her we make ourselves acquainted
With one a Sewell** might have painted.

Here common with the flock again,
At home in her abiding pen,
She lingers feeding at the trough,
The last to let night drive her off.

The one who gave her ankle-band,
Her keeper, empty pail in hand,
He lingers too, averse to slight
His chores for all the wintry night.

He leans against the dusty wall,
Immured almost beyond recall,
A depth past many swinging doors
And many litter-muffled floors.

He meditates the breeder's art.
He has a half a mid to start,

With her for Mother Eve, a race
That shall all living things displace.

'Tis ritual with her to lay
The full six days, then rest a day;
At which rate barring broodiness
She well may score an egg-success.

The gatherer can always tell
Her well-turned egg's brown sturdy shell
As safe a vehicle of seed
As is vouchsafed to feathered breed.

No human specter at the feast
Can scant or hurry her the least.
She takes her time to take her fill
She whets a sleepy sated bill.

She gropes across the pen alone
To peck herself a precious stone.
She waters at the patent fount
And so to roost, the last to mount.

The roost is her extent of flight.
Yet once she rises to the height,
She shoulders with a wing so strong
She makes the whole flock move along.

The night is setting in to blow.
It scours the windowpane with snow,
But barely gets from them or her
For comment a complacent chirr.

The lowly pen is yet a hold
Against the dark and wind and cold
To give a prospect to a plan
And warrant prudence in a man.

1936 "A Further Range".

Примечания.

В интернете можно найти стихотворение «Blue Ribbon Amesbury» в блестящем переводе на русский язык Г.Кружкова. В подражание ему сделан и данный перевод.

***Эймсбери** - небольшой город (около 16-17 тысяч жителей), в графстве Эссекс, на северо-востоке штата Массачусеттс. Городок лежит вблизи устья реки Merrimack, неподалёку расположены города Salisbury и Newburyport.

****Сьюэлл** - Р.Фрост упоминает здесь художника, рисовавшего для специальной прессы кур-рекордисток. Это Franklane Sewell (1866-1945), живший в городе Бьюкенен, штат Мичиган.

Там что-то есть и будет погодя...

Другие мне твердят, не засти свет,
как станешь на колени у колодца,
иначе не увидишь в глубине
блестящей на поверхности картины:
обожествлённый лик свой в небесах,
в венце из трав и в облачной оправе.
Так я упёрся подбородком в сруб
и смутно различил за той картиной
и сквозь неё белеющий предмет.
Он был внизу и вмиг исчез из вида.
Вода дразнила зренье, помутнев, -
то папоротник сбросил сверху капли.
Всё бывшее на дне укрыла рябь,
и я дивился: что же там белеет?
Не истина - так кварц! Но что-то есть...

For Once, Then, Something

Others taunt me with having knelt at well-curbs
Always wrong to the light, so never seeing
Deeper down in the well than where the water
Gives me back in a shining surface picture
Me myself in the summer heaven godlike
Looking out of a wreath of fern and cloud puffs.
Once, when trying with chin against a well-curb,
I discerned, as I thought, beyond the picture,
Through the picture, a something white, uncertain,
Something more of the depths—and then I lost it.
Water came to rebuke the too clear water.
One drop fell from a fern, and lo, a ripple
Shook whatever it was lay there at bottom,
Blurred it, blotted it out. What was that whiteness?
Truth? A pebble of quartz? For once, then, something.

1923 "New-Hampshire".

Примечание.

Стихотворение «For Once, Then, Something» можно найти в интернете в русских переводах С.Степанова и Ю.Комаровой. Оба перевода отличаются большой близостью к точному подстрочнику.

Попутный разговор

Иное никогда не ясно,
но этой ночью ясен воздух.
Он сбрызнут ясною струёй.
И горы нам видны прекрасно,
и очень ярко блещут звёзды.
Так свой насмешливый настрой
ты сохраняешь понапрасну.
Нет. Мы не скажем: "Всё неясно".

Voice Ways

Some things are never clear.
But the weather is clear tonight,
Thanks to a clearing rain.
The mountains are brought up near,
The stars are brought out bright.
Your old sweet-cynical strain
Would come in like you here:
"So we won't say nothing is clear".

1936 "A Further Range". Taken singly.

Примечание.
Публикуется новая версия сделанного ранее перевода.

Последний краснокожий

Он был последним эктонским* индейцем.
Такой был толк. Так мельник говорил, смеясь, -
когда б вы посчитали то за смех.
Другим он не позволил бы смеяться
и, став немедленно серьёзней, объяснял:
"Чей этот бизнес - если я за это взялся?
Чей бизнес? - Не амбарный разговор!
Раз так, то я со всеми толками покончил".

Вы не могли б на всё взглянуть, как он.
В том давнем споре поздно разбираться.

Хотя б вы даже были б здесь тогда,
так не могли бы справедливо вникнуть в дело.
То было столкновение двух рас.

Оглядывая мельницу, индеец
издал гортанный изумлённый крик.
Крутился преогромный жуткий жёрнов.
Явившись, мельник с отвращеньем услыхал
того, кому предписывал молчанье.

"Эй, Джон! - спросил. - Пойдёшь взглянуть на колесо?"

И вниз его провёл по шаткой балке,
чтоб гостю показать сквозь люк в полу
поток воды, взбешённый, будто рыба -
осётр, не то лосось, - что мчит, плеща хвостом...
Тут мельник сбросил трап и так рванул защёлку,
что, загремевши, перекрыла прочий шум.
Наверх ушёл один и разразился смехом.
Увидел батрака с мешком для отрубей.
Ему велел не заниматься нынче ловлей.
Ту яму Джону показал он как ловкач.

The Vanishing Red

He is said to have been the last Red Man
In Acton*. And the Miller is said to have laughed —
If you like to call such a sound a laugh.
But he gave no one else a laugher's license.
For he turned suddenly grave as if to say,
"Whose business, — if I take it on myself,
Whose business — but why talk round the barn? —
When it's just that I hold with getting a thing done with".

You can’t get back and see it as he saw it.
It’s too long a story to go into now.
You’d have to have been there and lived it.
Then you wouldn’t have looked on it as just a matter
Of who began it between the two races.

Some guttural exclamation of surprise
The Red Man gave in poking about the mill,
Over the great big thumping shuffling mill-stone,
Disgusted the Miller physically as coming
From one who had no right to be heard from.

“Come, John,” he said, “you want to see the wheel pit?”

He took him down below a cramping rafter,
And showed him, through a manhole in the floor,
The water in desperate straits like frantic fish,
Salmon and sturgeon, lashing with their tails.
Then he shut down the trap door with a ring in it
That jangled even above the general noise,
And came up stairs alone — and gave that laugh,
And said something to a man with a meal-sack
That the man with the meal-sack didn’t catch — then.
Oh, yes, he showed John the wheel pit all right.

1916 "Mountain Interval".

Примечания.

В интернете можно познакомиться с переводом стихотворения «The Vanishing Red» на русский язык (автор перевода Вячеслав Толстов, указан ник Вячеслав Михалыч). Там же (в интернете) есть и украинский перевод. Добротный перевод этого стихотворения, сделанный С.Сергеевым есть в сборнике избранных стихотворений Р.Фроста, изданном в 1963 г.

***Эктон** - небольшой город в штате Массачусеттс , около 22 тысяч жителей. Вблизи расположены город Конкорд и Национальный Исторический парк "Минит Мэн".

Потоп

Кровь было нам тогда трудней сдержать, чем воду.
Вот, думалось, вода надёжно пленена -
между валов (и пусть беснуется она!).
Нет! Та воюет, чтоб прорваться на свободу.
Казалось: дьявол пробудил её из дрёмы.
Вода ж - как в жилах кровь, и ей не скажешь: "Стоп!"
Вот, накопившись, обещает нам потоп
и достигает чрезвычайного подъёма.
Потребно выйти, либо с боем, либо мирно,
пусть не таран, так хоть размывы применив.
Хоть так, хоть эдак - массе нужен слив.
Приливная волна обильна и настырна.
Листва вверху красна. Вода грозит, как рать.
Течёт, а цвет - как кровь. Её не удержать.

The Flood

Blood has been harder to dam back than water.
Just when we think we have it impounded safe
Behind new barrier walls (and let it chafe!),
It breaks away in some new kind of slaughter.
We choose to say it is let loose by the devil;
But power of blood itself releases blood.
It goes by might of being such a flood
Held high at so unnatural a level.
It will have outlet, brave and not so brave.
Weapons of war and implements of peace

Are but the points at which it finds release.
And now it is once more the tidal wave
That when it has swept by leaves summits stained.
Oh, blood will out. It cannot be contained.

1928 "West-Running Brook"

Примечания.

Русских переводов стихотворения «The Flood» в интернете не отыскалось.

Стихотворение было написано Робертом Фростом под впечатлением катастрофического Великого наводнения 1927 года, когда река Миссисипи, помимо материального ущерба, унесла сотни человеческих жизней. Особенно сильно пострадало бедное цветное население южных штатов.

Воображаемые приключения

Пейзаж на диво.
Рассвело.
Кайщн Гудзонова* залива.
Здесь стародавний торг пушной.
Готовы лодка и весло -
и даль открыта передо мной.

Но прежде укрепил палатку.
Решил: полезен проводник
и нужно проявить оглядку.
Дождался - вскоре гость возник:
охотник с мехом на продажу.

Не то он Джо,
не то он Джон.

Зови любым из двух имён.
Похоже он не знает даже,
что где-то тут погиб Гудзон*.

Совсем не спец в учёной сфере,
но договор был заключен.

Не звать же в путь морского зверя,
что вдруг на льдине завизжит?
И кто ж из нас непогрешимый эрудит?

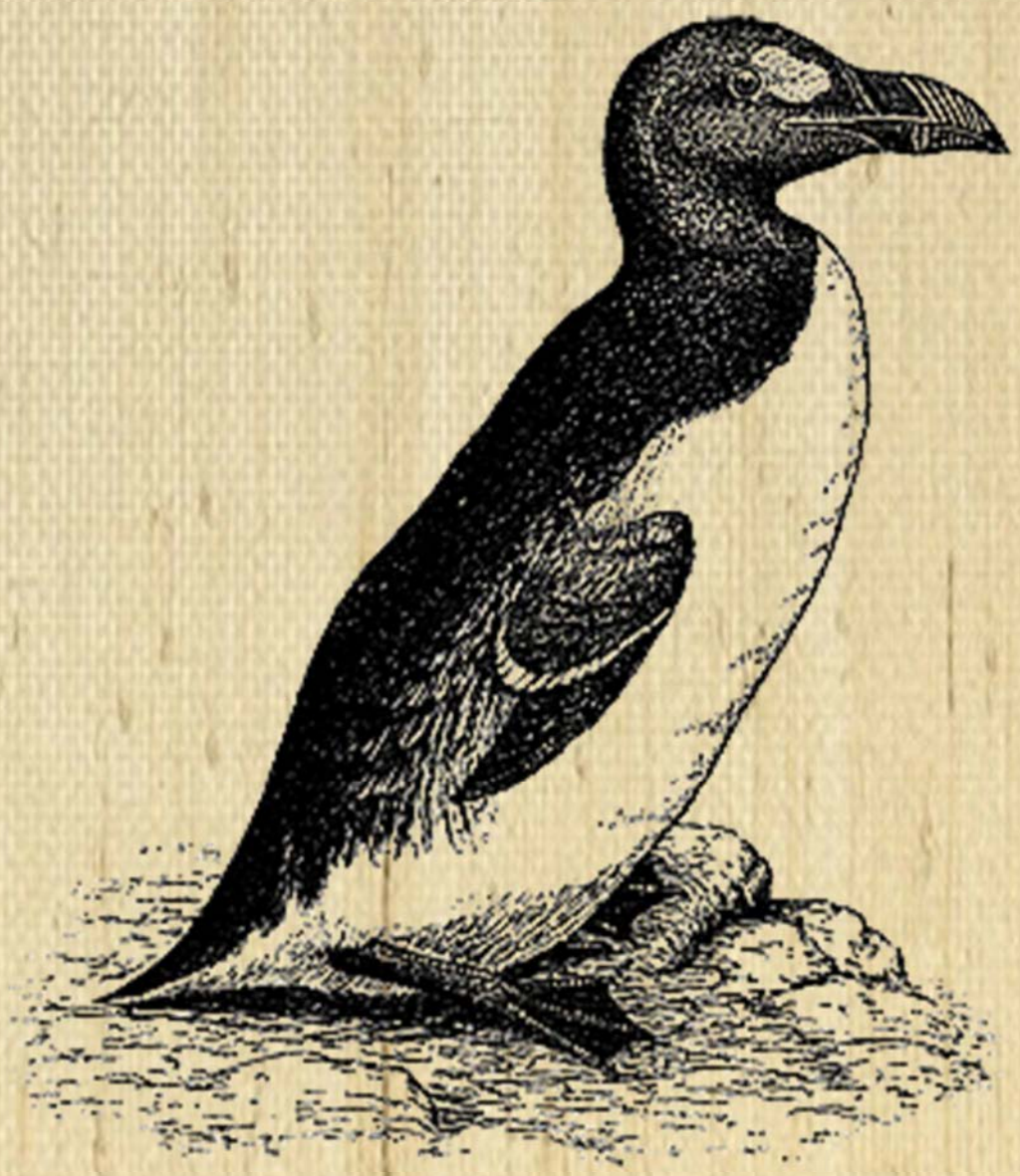
Так в чём вопрос?
В предполюсной глуши
в беде напрасен крик и стон.
Здесь ни души.

Один лишь только мой Джо-Джон,
француз, индеец, эскимос.
Он знает здесь все западни
и выручит в лихие дни.

Идём в дорогу,
заранее решив,
куда пойдёт заплыв.
Понять уже пора нам,
под снегом и туманом,
чем дорог наш залив -
и людям, и зверью, и Богу,
а в целом, может быть, для всех.

Не спрашивайте Джо,
с чего он грустен ныне.
По этой же причине
мне тоже не смешно,
хоть было то давно.
Печалит горькая погибель капитана
в пути к свершению задуманного плана
в каком-то месте посреди двух тысяч миль,
когда рассорился с капризною командой,
вдруг ставшей непокорной бандой.

Тут впору крикнуть: "Ты да я!"
И, будто в эту стыль
проснулся дух
исчезнувшего вида больших гагарок**,
воскликнуть: "Вы да я!"
И "Лучше уж рассыпься в прах и пыль,
когда и зрение, и слух
твердят, что ты идёшь к крушенью,
и, вместо толков да ненужных тарабарок,
достойней вовсе замолчать в одно мгновенье".



An Empty Treat

I stay;
But it isn't as if
There wasn't always Hudson*'s Bay
And the fur trade,
A small skiff
And a paddle blade.

I can just see my tent pegged,
And me on the floor,
Crosslegged,
And a trapper looking in at the door
With furs to sell.

His name's Joe,
Alias John,

And between what he doesn't know
And won't tell
About where Henry Hudson*'s gone,
I can't say he's much help;
But we get on.

The seal yelp
On an ice cake.
It's not men by some mistake?

No,
There's not a soul
For a wind-break
Between me and the North Pole -

Except always John-Joe,
My French Indian Esquimaux,
And he's off setting traps,
In one himself perhaps.

Give a head shake
Over so much bay
Thrown away
In snow and mist
That doesn't exist,
I was going to say,
For God, man or beast's sake,
Yet does perhaps for all three.

Don't ask Joe
What it is to him.
It's sometimes dim
What it is to me,
Unless it be
It's the old captain's dark fate
Who failed to find or force a strait
In its two-thousand-mile coast;
And his crew left him where he failed,
And nothing came of all he sailed.

It's to say, "You and I"
To such a ghost,
"You and I
Off here
With the dead race of the Great Auk**!"
And, "Better defeat almost,
If seen clear
Than life's victories of doubt
That need endless talk talk
To make them out."

1923 "New Hampshire".

Примечания.

Русских переводов стихотворения «An Empty Threat» в интернете отыскать не удалось. В стихотворении рассказывается о воображаемом путешествии к берегам Гудзонова залива.

*Значительная часть содержания стихотворения посвящена памяти английского капитана **Генри Гудзона (Хадсона,1570-1611)**, в течение нескольких лет неоднократно, на английских и голландских кораблях, искавшего в арктических морях кратчайший путь в Азию. После многих ценных исследований и открытий капитан Гудзон погиб где-то в районе залива, названного его именем. Это случилось после того, как взбунтовавшиеся моряки его корабля "Discovery" высадили своего капитана с семью матросами и малолетним сыном в лодку безо всяких припасов. Причина бунта - желание прервать, вопреки настойчивости капитана, исключительно тяжёлый рейс и возвратиться на родину.

****"Большие гагарки"**, иначе "бескрылые гагарки" - распространённый с незапамятных пор вид крупных нелетающих птиц, гнездившихся в основном на безлюдных отдалённых островах и побережьях. Были излюбленным объектом систематической браконьерской охоты, к середине XIX века на Земле не осталось ни одной живой особи этих птиц.

Мирный Пастух

Хотел бы небо обновить
над всем зелёным миром:
другие трассы прочертить
меж звёздами пунктиром -

убрать торговые Весы,
Крест веры и Корону власти:
они не только для красы -
в них символы несчастья.

Пока они царят в ночи,
Земля - в войне неугомонной,
и превращаются в мечи
Весы и Крест с Короной.

The Peaceful Shepherd

If heaven were to do again,
And on the pasture bars,
I leaned to line the figures in
Between the dotted stars,

I should be tempted to forget,
I fear, the Crown of Rule,
The Scales of Trade, the Cross of Faith,
As hardly worth renewal.

For these have governed in our lives,
And see how men have warred.
The Cross, the Crown, the Scales may all
As well have been the Sword.

1928 "West-Running Brook"

Примечание.

В интернете опубликован перевод стихотворения «The Peaceful Shepherd», сделанный Вячеславом Толстовым.

Хочется отметить, что в 1928 году Роберт Фрост сумел не только лаконично подытожить уроки прошлого и оценить свою эпоху, но и зорко заглянуть в наши дни, когда монополии перехватывают друг у друга куски уже поделённого мира; когда папы, патриархи, митрополиты и имамы, не находя общего языка, ссорят между собой многомиллионные народы; когда Януковичи, Порошенки, Яценюки, Тимошенки и Коломойские (и тьма других политиков в разных странах) дерутся за лакомую им власть.

Не насовсем

Он послан к ней назад. Письмо пришло.
В нём суть... Авось останется? Но прежде
хотелось знать, не скрыта ли беда
в казённых строчках. Он жив в её глазах.
Его должны вернуть назад живого.
А как иначе? Не пришлют же труп
и явного калеку. Что ж там с его лицом?
С руками? Взглянула бы, спросила б:
"Что ж это, милый?" Я всё уж отдала.
Ведь всё, что было - с ним вместе. Было счастье.
Так рада ли теперь? Ведь так удачно.
Всё остальное будет дальше просто.
Лишь спросит: "Что же это, милый?
Расчёлся?".

"И да, и нет. Ранение насквозь.
Пробило грудь вверху. Нужны лекарства,
да твой уход, да отдых на неделю.
Поправлюсь и уйду опять". И тотчас
предчувствия в них мрачные взыграли.
Она и взглядом спрашивать не смела,
как вновь перенесёт он испытанье.
И он просил не задавать вопросов.
Его прислали к ней назад не насовсем.

Not To Keep

They sent him back to her. The letter came
Saying... And she could have him. And before
She could be sure there was no hidden ill
Under the formal writing, he was in her sight,

Living. They gave him back to her alive
How else? They are not known to send the dead
And not disfigured visibly. His face?
His hands? She had to look, and ask,
"What was it, dear?" And she had given all
And still she had all they had they the lucky!
Wasn't she glad now? Everything seemed won,
And all the rest for them permissible ease.
She had to ask, "What was it, dear?"

"Enough,"
Yet not enough. A bullet through and through,
High in the breast. Nothing but what good care
And medicine and rest, and you a week,
Can cure me of to go again." The same
Grim giving to do over for them both.
She dared no more than ask him with her eyes
How was it with him for a second trial.
And with his eyes he asked her not to ask.
They had given him back to her, but not to keep.

1923 "New Hampshire".

Ночная радуга

Под вечер мы, хоть ощупью, но верно,
советуясь, спускались вниз с Малверна*.
Огнистый свет был редким и чудным.
С оград текло. В полях размокла глина.
Вверху, как в это верил древний Рим,
виднелись нам мемфисские руины.
Сквозь них пробившись, мог в любой момент
блеснуть случайный солнечный фрагмент.
Цвета казались нам пигментной пастой.

Мы ж, двое, будто в водной глубине
в подводной лодке двигались к луне.
Нас, упоивши, поглотили хляби.
Земля - вся в клеверно-брусничной ряби -
впитала воду, как испив росу,
а воздух стал как влага на весу.
Взметнулось атмосферное давленье
и радуга нависла лёгкой сенью -
прозрачным луком, стянутым луной,
чтоб я вошёл и друг вошёл со мной.
Явилось нам дарованное чудо,
чего не видывали мы вдвоём.
Дожил лишь я, чтоб рассказать о том.
Из радуги был согнут лук - на диво!
Мы шли - он красовался горделиво.
(Как золотой найдённый нами клад).
На влажном фоне росного разлива
сошлись два многоцветные конца,
сомкнувшись вроде мягкого кольца.
Наш подиум был радугой объят.
В веках, среди враждующего круга,
отметились два избранные друга**.

Iris By Night

One misty evening, one another's guide,
We two were groping down a Malvern* side
The last wet fields and dripping hedges home.
There came a moment of confusing lights,
Such as according to belief in Rome
Were seen of old at Memphis on the heights
Before the fragments of a former sun

Could concentrate anew and rise as one.
Light was a paste of pigment in our eyes.
And then there was a moon and then a scene
So watery as to seem submarine;
In which we two stood saturated, drowned.
The clover-mingled rowan on the ground
Had taken all the water it could as dew,
And still the air was saturated too,
Its airy pressure turned to water weight.
Then a small rainbow like a trellis gate,
A very small moon-made prismatic bow,
Stood closely over us through which to go.
And then we were vouchsafed a miracle
That never yet to other two befell
And I alone of us have lived to tell.
A wonder! Bow and rainbow as it bent,
Instead of moving with us as we went
(To keep the pots of gold from being found),
It lifted from its dewy pediment
Its two mote-swimming many-colored ends
And gathered them together in a ring.
And we stood in it softly circled round
From all division time or foe can bring
In a relation of elected friends**.

(1917) 1936 "A Further Range"

Примечания.

Стихотворение написано Р.Фростом, по-видимому, в 1917 году, но опубликовано только в 1936 г. В интернете переводов этого стихотворения на русский язык обнаружить не удалось.

***Малверн** - гряда живописных скалистых холмов в английских графствах Worcestershire, Herefordshire, Gloucestershire, где поэт неоднократно совершал прогулки во время своего пребывания в Англии. Здесь описывается конец большой целодневной пешей прогулки вдвоём с близким другом Эдуардом Томасом (Edward Thomas) в августе 1914 г.

Друг Р.Фроста **Эдуард Томас погиб на войне во Франции в 1917 г. С его памятью связаны и другие стихотворения Р.Фроста: "The Road Not Taken", "A Soldier", "On Talk of Peace at This Time", "To E.T.".

Запущенный сарай в туманном месте

Там есть сарай, а дома не бывало:
сарай с навесами вокруг, как палисад.
Охотник в сумерках, раздвинув листья,
вошёл туда с ружьём, висящим за плечом.
На небе был осенний полный Месяц.
Он после равноденствия приплыл -
замкнуть сарай по завершенью лета.
Во всю качались светлые меха
и, вслед за Месяцем, тянулись сзади.
Он прибыл, взяв с собою инструмент:
откинул колья, после запер снова
двойные в ширину да ввысь ворота,
чьё преимущество и недостаток в том,
что повторивший это таинство бродяга,
таясь внутри, не мог уж их закрыть.
Замкнуть их можно было лишь снаружи...
Я встретил парня, вроде моряка,
не то он с шахты, то ли он с завода.
Как он сказал, попав на сенокос,
он здесь однажды ночевал в сарае -
в том самом. Описания сошлись:
запущенный сарай в туманном месте.
О нём мы оба вскрикнули: "Восторг!"
Однако в окнах были всюду щели,
от верха донизу. И поутру,
проснувшись от дневного света,
он будто бы попал в серебряный капкан,
а колья у ворот в нём пробудили
ему присущий неприязненный настрой
к обычной неразумности богатых,
что спят в своих заложенных домах,
не ведая, в чём истинная ценность,

и берегут свои богатства под стеклом,
а лучшее сгнивает без охраны.
Но, если б кто-то вовремя поспел,
мы б дивные творенья сохранили.
Есть исключительные образцы.
В чести каштановая древесина
из гибнущих реликтовых лесов.
Её теперь ничем не заменить,
а прежде шла на колья для подпорки.
Он закипал взволнованной мечтой.
Он знал, что сам внутри он не запрётся,
но, может быть, запрёт другой бродяга,
из озорства, не заходя вовнутрь.

The Old House at the Bottom of the Fogs

Where's this barn's house? It never had a house
Or joined with sheds in ring-around a dooryard.
The hunter scuffling leaves goes by at dusk
The gun reversed that he went out with shouldered.
The harvest moon and then the hunter's moon.
Well, the moon after that came one at last
To close this outpost barn and close the season.
The fur-thing, the muff-thing, rocking in and out
Across the threshold in the twilight fled him.
He took the props down used for propping open
And set them up again for propping shut.
The widespread doors two stories high.
The advantage-disadvantage of these doors
Was that tramp taking sanctuary there
Must leave them unlocked to betray his presence.
They could be locked but from the outside only.

There is a fellow on the ocean now
Or down a mine or at the mill (I met him)
Who slept there in a mow of meadow hay
One night (he told me). And the barn he meant
Was the one I meant. Our details agreed.
We said Well twice to what we had in common,
The old barn at the bottom of the fogs.
In only windows were the crevices
All up and down it. So that walking there
Next morning to the light of day was more
Like waking in a cage jf silver bars.
Its locks were props - and that reminded him.
Trust him to have his bitter politics
Against his unaquaintances the rich
Who sleep in houses of their own, tough mortgaged.
Conservatives, they don't know what to save.
Consider what they treasure under glass,
Yet leave such lovely shafts outdoors to perish.
Would someone only act in time we yet
Might see them on a rack like famous oars,
Their label Prop-Locks, only specimens
In chestnut now become a precious wood
As relic of a vanished race of trees -
When these go there will be none to replace them.
Yes, right I was, the locks were props outside;
And it had almost given him troubled dreams
To think that though he could not lock himself in,
The cheapest tramp that came along that way
Could mischievously lock in to stay.

1936 "A Further Range"

Примечание.

Других переводов данного стихотворения на русский язык в интернете найти не удалось.

О сердце, замутившем рассудок

Я это видел ночью в штате Юта,
не то помнилось посреди маршрута.
Я с полки видел в небе лунный свет,
и по земле тянулся яркий след.
Блестели звёзды, копья ощетиня,
и чей-то огонёк горел в пустыне -
простой костёр, зажжённый там впотьмах,
и гревший, и смирявший ночью страх.
И собрались там - мимоездом судя -
пришедшие в отчаяние люди.
Такой костёр угаснет в краткий срок,
как слабенький цветочный лепесток...
И сердце замутило мой рассудок.
Мне веселее от других погудок.
Огонь горит, покуда есть дрова.
Подбросишь сучьев - сила в нём жива.
Не нужен станет, если прочь отбудем, -
тогда его оставим новым людям.
А тот, кто возвратится через год,
захочет - так сильнее разведёт.
Собравшись в путь, бываю сам согласен,
как скажут о костре: "Давай погасим!"
И прочие не возразят,
решив, что не воротятся назад,
но могут вновь разжечь, когда хотят...
Бросаю взгляд в окошко напоследок:
луна ярка, а свет костров там редок.
В пустыне не родится лес.
Там пара человек, а дров - в обрез.
И некому пойти собрать, похоже.
Но женщина глядит на жизнь без дрожи.
О лучшем месте думала не раз -
не утешалась: "Это не для нас!"
Жизнь - не такая мрачная могила.
Действительность обоих их бодрила.

Он - муж. Она - его жена.
Он ей не чужд, и жизнь им не страшна
(и поняли, откуда ждать им света,
да чтоб сродни была им светлость эта).
Но мне уже пора была в постель,
и я в пути не разглядел их цель.

А поздним утром, разминая ноги,
когда я шёл по полотну дороги,
то всё глядел сквозь паровозный дым,
как вдалеке живётся всем другим.

On the Heart's Beginning to Cloud the Mind

Something I saw or thought I saw
In the desert at midnight in Utah,
Looking out of my lower berth
At moonlit sky and moonlit earth.
The sky had here and there a star;
The earth had a single light afar,
A flickering, human pathetic light,
That was maintained against the night,
It seemed to me, by the people there,
With a Godforsaken brute despair.
It would flutter and fall in half an hour
Like the last petal off a flower.
But my heart was beginning to cloud my mind.
I knew a tale of a better kind.
That far light flickers because of trees
The people can burn it as long as they please;
And when their interest in it end,
They can leave it to someone else to tend.

Come back that way a summer hence,
I should find it no more no less intense.
I pass, but scarcely pass no doubt,
When one will say, "Let us put it out,"
The other without demur agrees.
They can keep it burning as long as they please;
They can put it out whenever they please.
One looks out last from the darkened room
At the shiny desert with spots of gloom
That might be people and are but cedar,
Have no purpose, have no leader,
Have never made the first move to assemble,
And so are nothing to make her tremble.
She can think of places that are not thus
Without indulging a "Not for us!"
Life is not so sinister-grave.
Matter of fact has made them brave.
He is husband, she is wife.
She fears not him, they fear not life.
They know where another light has been,
And more than one, to their akin,
But earlier out for bed tonight,
So lost on me in my surface flight.

This I saw when waking late,
Going by at a railroad rate,
Looking through wreaths of engine smoke
Far into the lives of other folk.

(1934) 1936 "A Further Range".

Примечание.

Переводов стихотворения «On the Heart's Beginning to Cloud the Mind» на русский язык в интернете обнаружить не удалось.

Затерявшийся в небе

Мне тучи грозили внезапною бурей,
хотели открыть изобильные баки,
а я, не пугаясь рассерженных фурий,
на небе искал мне знакомые знаки.

Но звёзды светились не бойко и слабо,
Созвездия были представлены скудно.
Хотел опознать там лишь пару хотя бы,
и сам испугался - так было мне трудно.

"Так где же я в небе?" - я крикнул в задоре.
"Но лучше молчите! - вновь крикнул я тучам. -
Пусть я затеряюсь в небесном просторе,
навек поражённый пространством могучим".

Lost in Heaven

The clouds, the source of rain, one stormy night
Offered an opening to the source of dew;
Which I accepted with impatient sight,
Looking for my old skymarks in the blue.

But stars were scarce in that part of the sky,
And no two were of the same constellation -
No one was bright enough to identify;
So 'twas with not ungrateful consternation,

Seeing myself well lost once more, I sighted,
'Where, where in Heaven am I? But don't tell me!
Oh, opening clouds, by opening on me wide.
Let's let my heavenly lostness overwhelm me.'

1936 "A Further Range"

Примечание.

Стихотворение «Lost in Heaven» найдено в интернете в переводах Аллы Шараповой и Вадима Белякова.

Хочу Вам возвестить тот час

Заела лень,
а ночью встал -
уже не спал.
Хотел узнать,
когда рассвет
и неужели
забрезжил день.
(А света нет).
Тут не до нег.
Вихрится снег
под свист метели.
Сошлись в проулках
два ветра гулких.
Взялись в потугах
душить друг друга.
Завыла вьюга.
Не стану лгать,
хоть мне некстати
лезть в переделки
в эти холода,
но стал впотьмах
следить, когда
сойдутся стрелки
в башенных часах
на циферблате.

И слышу: трах!
Невозмутимый звон

на всю округу.
Он странно приглушён.
И башня возвестила: "Час!" -
совместно с колокольней,
как сговорясь вдвоём.
Поднялся люд окольный,
расслышавший сигнал
меж сладких снов,
(а нищий люд не спал)...
Злой ветер был суров,
накинувшись en masse,
все стёкла тряс -
как мёрзлым мехом вытер.
Включился в разговор
весь звёздный хор,
и Солнце, и Луна,
и круг планет сполна:
и Марс с Сатурном,
и Юпитер.
Все тау с сигмами
созвездий
раскрепощённо,
с траекторий,

10
11
12
SCVLVM

вступая спор учёный
в своём заезде,
трепали в споре
клочки теорий,
что люди под шумок,
приводят как итог...
Среди тех выводов - и Бог...
Космическою тенью
в зиянье объектива
не объяснишь рожденье
волшебного мотива.
Рождаясь в небесах,
он слышится в часах,
где шестерни ретивы.
Заветным словом
владела лишь звезда,
светящая над кровом,
но дальняя на диво.
Одна лишь, без подруг.
Она нейдёт оттуда,
ни на мгновенье.
Крутясь без перерыва,
не входит в звёздный круг.
С ней вышло чудо.
Дожив до расширенья
предстала Новой.
(Хотела возвестить тот час!).
По мнению любого люда,
в её свеченье,
без измененья,
всегда лишь блеск суровый,
и так покуда,
внизу всё то же предстаёт:
там человек любого века
гнетёт другого человека;
один народ гнетёт другой народ.

I Will Sing You One-O

It was long I lay
Awake that night
Wishing that night
Would name the hour
And tell me whether
To call it day
(Though not yet light)
And give up sleep.
The snow fell deep
With the hiss of spray;
Two winds would meet,
One down one street,
One down another,
And fight in a smother
Of dust and feather.
I could not say,
But feared the cold
Had checked the pace
Of the tower clock
By tying together
Its hands of gold
Before its face.

Then cane one knock!
A note unruffled
Of earthly weather,
Though strange and muffled.
The tower said, "One!'
And then a steeple.
They spoke to themselves

And such few people
As winds might rouse
From sleeping warm
(But not unhouse).
They left the storm
That struck en masse
My window glass
Like a beaded fur.
In that grave One
They spoke of the sun
And moon and stars,
Saturn and Mars
And Jupiter.
Still more unfettered,
They left the named
And spoke of the lettered,
The sigmas and taus
Of constellations.
They filled their throats
With the furthest bodies
To which man sends his
Speculation,
Beyond which God is;
The cosmic motes
Of yawning lenses.
Their solemn peals
Were not their own:
They spoke for the clock
With whose vast wheels
Theirs interlock.
In that grave word
Uttered alone
The utmost star
Trembled and stirred,
Though set so far
Its whirling frenzies
Appear like standing

In one self station.
It has not ranged,
And save for the wonder
Of once expanding
To be a nova,
It has not changed
To the eye of man
On planets over
Around and under
It in creation
Since man began
To drag down man
And nation nation.

1923 "New Hampshire"

Примечание.

Переводов стихотворения «I Will Sing You One-O» на русский язык в интернете найти не удалось. Содержание и смысл этого стихотворения толкуется комментаторами по-разному. Довольно сложное, оно представляется многоплановым и неоднозначным. Речь идёт о взаимоотношениях человечества с окружающей природой, о судьбах Вселенной и человечества. Кто-то считает, что стихотворение трактует о религиозных представлениях и о Боге. Другие это опровергают и считают центральным пунктом стихотворения разговор с отдалённой Новой - звездой, которая воспринимается на Земле реальной и живой, а в действительности, может быть, уже давно угасла в незапамятные времена, а свет от неё всё ещё идёт.

Избравшие должны быть безупречны

Суровый Голос молвил: "Вниз её швырнуть!"

Другие Голоса: "В какую пропасть?"

"На дно семиподвальной преисподней".

"Когда исполнить?"

"Я даю вам двадцать лет.
В том случае, когда отринет надёжную любовь с достатком и почётом!
Избравшие должны быть безупречны - если смогут.
Пусть выбирают".

"Тогда позволим выбирать и ей?"

"Да, и она пусть выбирает.
Пусть этим выбором решит свою проблему".

Ей на плечо легли невидимые руки
в готовности дать ей тяжёлую нагрузку.
Однако же она стояла прочно,
в широких круглых серьгах из золота, гагата и жемчужин,
с широкой круглою подобной брошью.
Гордилась яркими щеками.
Гордились ими и её друзья.

А голос спрашивал: "Позволите ли вы ей выбирать?"

"Да, мы позволим ей, и пусть добьётся счастья".

"Тогда пусть будет с нею радость, и никогда её не упрекайте.
А первой радостью её пусть будет свадьба,
хотя, раз это свадьба,
то знать, что это значит, положено ему и ей.
За этим вслед её вторая радость -
что, пригорюнясь, припрячет огорчения в секрете,
и что друзья, не зная той печали, её не застыдят.
А третья радость в том, что, хоть не знают и не помогут,
но развлекаться будут очень далеко.
Ей можно будет о друзьях не волноваться...
Посадит по ребёнку на колени - в четвёртый раз узнает радость.
Расскажет им один единый раз, но с тем, чтоб никогда не забывали,
какою яркою она была когда-то,
заставив их её вообразить в сиянье зимнего костра.
Но не осмелится такое рассказать
обычно недоверчивым друзьям.
Не соизволит им такое рассказать -
в том пятая испытанная радость:

в уменье показать себя скромней
и в их кругу держаться незаметней.
Чтоб знали, кем была, надежды в ней не будет.
Не выйдет так, чтобы её любили такой, как есть.
Шестую радость ей доставит знанье,
что прожила без странных приключений.
С каких высот сошла узнает слишком поздно...
Пошлите ей кого-то с острым зрением и слухом,
чтоб он дивился ею, углядев воочью,
и поражён был тем, что от неё узнает
в короткие часы за слушаньем её историй.
Её последняя земная радость -
всё это высказать кому-то.
Тех радостей, вы знаете, лишь семь".

"Доверьтесь нам" - сказали Голоса.

The Lovely Shall be Choosers

The Voice said, "Hurl her down!"

The Voices, "How far down?"

"Seven levels of the world."

"How much time have we?"

"Take twenty years.
She would refuse love safe with wealth and honor!
The lovely shall be choosers, shall they?
Then let them choose!"

"Then we shall let her choose?"

"Yes, let her choose.

Take up the task beyond her choosing."

Invisible hands crowned on her shoulder
In readiness to weigh upon her.
But she stood straight still,
In broad round earrings, gold and jet with pearls,
And broad round suchlike brooch,
Her cheeks high-colored,
Proud and the pride of friends.

The Voice asked, "You can let her choose?"

"Yes, we can let her and still triumph."

"Do it by joys, and leave her always blameless.
Be her first joy her wedding,
That though a wedding,
Is yet--well, something they know, he and she.
And after that her next joy
That though she grieves, her grief is secret:
Those friends know nothing of her grief to make it shameful.
Her third joy that though now they cannot help but know,
They move in pleasure too far off
To think much or much care.
Give her a child at either knee for fourth joy
To tell once and once only, for them never to forget,
How once she walked in brightness,
And make them see it in the winter firelight.
But give her friends, for then she dare not tell
For their foregone incredulousness.
And be her next joy this:
Her never having deigned to tell them.
Make her among the humblest even
Seem to them less than they are.
Hopeless of being known for what she has been,
Failing of being loved for what she is,
Give her the comfort for her sixth of knowing
She fails from strangeness to a way of life
She came to from too high too late to learn.

Then send some one with eyes to see
And wonder at her where she is,
And words to wonder in her hearing how she came there,
But without time to linger for her story.
Be her last joy her heart's going out to this one
So that she almost speaks.
You know them - seven in all."

"Trust us," the Voices said.

1928 "West-Running Brook"

Примечание.

Переводов стихотворения «The Lovely Shall Be Choosers» на русский язык в интернете отыскать не удалось.

Место для третьей

Что толку говорить об этих браках!
По три у каждого. Был равный счёт.
Она три раза выходила замуж,
а перед смертью стала размышлять.
Казалось ей, что будет очень горько
в ряду с тремя умершими детьми
и так же - с парой жён живого мужа.
Она и не таила тех тревог,
и Лейбану сказала: "Ты обычно
разумен, и сейчас не ошибись.
Не положи меня к покойным жёнам".

Муж сам решил её похоронить
лишь с теми, с кем она сама захочет,
кто ей по нраву. Твёрдо обещал
исполнить просьбу. Но, заметив
Элизин строгий и тревожный взгляд,

решил, что сделает всё то, что в силах
и даже больше, чем он ей поклялся.
Надеялся, что он на то способен.
Хвалил усопших ближних сверх заслуг
и ждал, кого из них жена одобрит.
Сам думал о могиле для себя,
теперь был должен заказать обоим.
Велик ли будет камень, он не знал:
решил продать ярмо, чтоб были деньги.
Подумал о кладбищенских цветах.
Цветы среди могил смягчают горе.
Пока растут, и горе не умрёт:
нет позабывших, нет и позабытых.
Пренебрегать цветами неумно,
но выбрал бы невянущую зелень.
И вот возникли мысли поценней -
не сыщется ли вдруг могила парня,
что с ней венчался больше для забав,
чем как с хозяйкой. Знавшие смеялись.
Захочет ли с ним лечь в последнем сне?
Где ж та могила? Как тот парень звался?

Надгробье было в ближнем городке.
Читалось: "Джону, Нежному Супругу".
С ним рядом было место для сестры,
живой, но одинокой старой девы.
Сестра решала, положить ли здесь
Элизу, рядом с самым первым мужем.
Что ж! Лейбан тут же посетил сестру,
но не сказал, что сам решил зарыть
Элизу вместе с первою любовью.
О том, с кем лечь не хочет, умолчал.
Лицо сестрицы сморщилось при этом.
Ей задан был ответственный вопрос.
Боясь ошибки, порешила думать.
Заботлив Лейбан, но бедняк и стар.
Она сама - такая же старуха.

Уставила в него унылый взор.
Сказала, чтоб прошёлся по делам,
не уезжал и подождал ответа,
пока она прикинет что к чему
и отчего тот Лейбан так взволнован.
(Хотела рассмотреть его насквозь).

Она ещё раз видела Элизу,
когда та снова сделалась вдовой,
и пригласила в дом, чтоб отдохнула,
пока не вышла вновь за бедняка,
чтоб стать в его жилье домохозяйкой.
Она с Элизою была дружна.
И смела ли она судить о браках,
когда о них и в Библии - лишь мрак?
Спор с Лейбаном сестра не затевала.
Того и так уж выгладила жизнь.
Ей не хотелось, чтоб он ждал напрасно
с момента смерти и до похорон.
Едва его снаружи увидала,
поторопилась дать ему ответ
и встретила, как он пришёл, у двери.
И Лейбан угадал, что он услышит.
Она скривила жалкий старый рот,
чтоб выдать справедливое решенье,

как сквозь экран, не открывая дверь:
"Нет-нет! Не с Джоном. Я не вижу смысла.
Элиза знала вдоволь и других".

И Лейбан должен был вернуться к плану
похоронить жену без никого.
У самого ж теперь мог быть свой выбор,
когда настанет время умереть.

Place for a Third

Nothing to say to all those marriages!
She had made three herself to three of his.
The score was even for them, three to three.
But come to die she found she cared so much:
She thought of children in a burial row;
Three children in a burial row were sad.
One man's three women in a burial row —
Somehow made her impatient with the man.
And so she said to Laban, "You have done
A good deal right: don't do the last thing wrong.
Don't make me lie with those two other women."

Laban said, No, he would not make her lie
With any one but that she had a mind to.
If that was how she felt, of course, he said.
She went her way. But Laban having caught
This glimpse of lingering person in Eliza,
And anxious to make all he could of it
With something he remembered in himself,
Tried to think how he could exceed his promise,
And give good measure to the dead, though thankless.
If that was how she felt, he kept repeating.
Is first thought under pressure was a grave
In a new boughten grave plot by herself,
Under he didn't care how great a stone:
He'd sell a yoke of steers to pay for it.
And weren't there special cemetery flowers,
That once grief sets to growing, grief may rest:
The flowers will go on with grief awhile,
And no one seem neglecting or neglected?

A prudent grief will not despise such aids.
He thought of evergreen and everlasting.
And then he had a thought worth many of these.
Somewhere must be the grave of the young boy
Who married her for playmate more than helpmate,
And sometimes laughed at what it was between them
How would she like to sleep her last with him?
Where was his grave? Did Laban know his name?

He found the grave a town or two away,
The headstone cut with John, Beloved Husband,
Beside it room reserved, the say a sister's,
A never-married sister's of that husband,
Whether Eliza would be welcome there.
The dead was bound to silence: ask the sister.
So Laban saw the sister, and, saying nothing
Of where Eliza wanted not to lie,
And who had thought to lay her with her first love,
Begged simply for the grave. The sister's face
Fell all in wrinkles of responsibility.
She wanted to do right. She'd have to think.
Laban was old and poor, yet seemed to care;
And she was old and poor—but she cared, too.
They sat. She cast one dull, old look at him,
Then turned him out to go on other errands
She said he might attend to in the village,
While she made up her mind how much she cared—
And how much Laban cared—and why he cared.
(She made shrewd eyes to see where he came in).

She'd looked Eliza up her second time,
A widow at her second husband's grave,
And offered her a home to rest awhile.
Before she went the poor man's widow's way,
Housekeeping for the next man out of wedlock.
She and Eliza had been friends through all.
Who was she to judge marriage in a world

Whose Bible's so confused up in marriage counsel?
The sister had not come across this Laban;
A decent product of life's ironing-out;
She must not keep him waiting. Time would press
Between the death day and the funeral day.
So when she saw him coming in the street
She hurried her decision to be ready
To meet him with his answer at the door.
Laban had known about what it would be
From the way she had set her poor old mouth,
To do, as she had put it, what was right.

She gave it through the screen door closed between them
"No, not with John. There wouldn't be no sense.
Eliza's had too many other men."

Laban was forced to fall back on his plan
To buy Eliza a plot to lie alone in:
Which gives him for himself a choice of lots
When his time comes to die and settle down.

1923 "New Hampshire".

Примечание.

Русских переводов стихотворения «Place for a Third» в интернете не обнаружено.

Топорище

Порой взнесёшь топор над головой,
как он уж схвачен там ольховой веткой.
Со мной такое было уж в лесу.
Теперь, когда рубил ольховый комель,
решил, что вновь мешается ольха,
но это мой сосед Батист подкрался

ко мне в моём заснеженном дворе,
пока я обрабатывал колоду,
и я тут ничего не мог поделать.
Топор схватил он ловко, на лету.
Увидев, что меня он пересилил,
он мой топор уже не отпускал,
а после заграбастал без помехи.
Я знал его не слишком хорошо,
чтоб угадать, в чём дело. Он, возможно,
хотел меня сперва разоружить,
а после в чём-то упрекнуть соседа.
Винил он не меня. "Плохой топор!" -
сказал он на французисто-английском.
Ему был не по нраву инструмент -
мне продали дурное топорище.
"Токарная работа" - он сказал,
царапнув ногтем гладкую поверхность.
На ней остался штрих, как след змеи,
как символ доллара в любой банкноте.
"В миг треснет, только крепенько ударь.
Разрезаны древесные волокна".
Пусть даже так. Но он то здесь при чём?

"Зайди ко мне. Я дам тебе другое -
из гикори, чтоб гнулась рукоять.
Сам вырежу, и будет крепкой-крепкой".

Хотел продать? Об этом речь не шла.

"Когда зайдёшь? Я сделаю бесплатно.
Сегодня?"

"Да, сегодня вечерком".

У перегретых кухонных конфорок
я поздоровался, когда вошёл.
Батист не спрашивал, зачем явился,

хоть запоздал, он помнил уговор.
Я не считал: приду - доставлю радость.
(Какая радость? - Речь о топоре!).
Откуда было знать, что в этом деле
он эрудированней всех других.
По мне он был обычнейшим соседом,
но в окруженье янки - как француз -
он тщился получить высокий рейтинг.

Его жена крутилась, суетясь,
как весь наш мир, в её качалке-кресле:
назад - вперёд, из тени - в тень.
Она была попеременно всюду.
Боками чуть не упиралась в печь.
Её всё время стерегла опасность.
Могла со всей качалкой пострадать,
но всё не прекращала обороты.
"Она в английском очень несильна".
А я боялся, что пойдут вопросы
к обоим, потому что поняла,
что мы решаем некую проблему.
Батист слегка был этим раздражён,
но больше думая, что не успеет
исполнить утреннее обещанье,
а я начну его подозревать,
что он и не желает это сделать.

Но тут он вынул кучку топорищ
из своего запаса, чтобы выбрать
такое, чтоб сгодилось для меня.
В мою задачу вовсе не входило
судить о красоте и про размер.
Но демонстрация была на пользу.
Батист ценил отсутствие сучков
и, как в мече, что гнётся о колено,
изящный и пружинистый изгиб.
Такой был в образцовых топорищах.

Он узнавал, где резалось ножом,
не признавал станочного точенья.
Ценил естественную кривизну -
чтоб топорище было понадёжней.
Он резал рукоять суровою рукой
и проверял, годна ли для насадки.
"Ну-ну! - решал. - Подходит в аккурат".
Батист затягивал свою работу -
ему был по сердцу и сам процесс.

Беседа шла о школьном обученье.
Батист стремился уберечь детей -
забрать их всех, о чём всегда старался,
не сомневаясь, изо всяких школ,
где обучают их изготовленью
фальшивых плохо сделанных вещиц
и прививают этим вредный навык.
Подделками забиты все дома...
Я дружелюбно выслушал всё это.
В сомнениях он был частично прав.
Как реагировать на все упрёки,
зависит от ответственных людей.

Потом он отряхнул с колен всю стружку.
Топор в копытце укрепил стоймя.
Тот был прямым, но с небольшим изгибом,
как Змей, что злобно встал на хвост в Раю:
тяжёлый сверху на коротком утолщенье,
блестел ручной отделкой. Синела сталь.
Батист отпрянул и сказал с акцентом,
прищурясь и довольный образцом:
"Ну, вот и посадили кочетка!"

The Ax-Helve

I've known ere now an interfering branch
Of alder catch my lifted ax behind me.
But that was in the woods, to hold my hand
From striking at another alder's roots,
And that was, as I say, an alder branch.
This was a man, Baptiste, who stole one day
Behind me on the snow in my own yard
Where I was working at the chopping-block,
And cutting nothing not cut down already.
He caught my ax expertly on the rise,
When all my strength put forth was in his favor,
Held it a moment where it was, to calm me,
Then took it from me—and I let him take it.
I didn't know him well enough to know
What it was all about. There might be something
He had in mind to say to a bad neighbor
He might prefer to say to him disarmed.
But all he had to tell me in French-English
Was what he thought of—not me, but my ax,
Me only as I took my ax to heart.
It was the bad ax-helve someone had sold me —
"Made on machine," he said, plowing the grain
With a think thumbnail to show how it ran
Across the handle's long-drawn serpentine —
Like the two strokes across a dollar sign.
"You give her one good crack, she's snap raght off.
Den where's your hax-ead flying t'rough de hair?"
Admitted; and yet, what was that to him?

"Come on my house and I put you one in
What's las' awhile—good hick'ry what's grow crooked.

De second growt' I cut myself—tough, tough!"

Something to sell? That wasn't how it sounded.

"Den when you say you come? It's cost you nothing.
Tonaght?

As well tonight as any night.
Beyond an over-warmth of kitchen stove
My welcome differed from no other welcome.
Baptiste knew best why I was where I was.
So long as he would leave enough unsaid,
I shouldn't mind his being overjoyed
(If overjoyed he was) at having got me
Where I must judge if what he knew about an ax
That not everybody else knew was to count
For nothing in the measure of a neighbor.
Hard if, though cast away for life 'mid Yankee,
A Frenchman couldn't get his human rating!

Mrs. Baptiste came in and rocked a chair
That had as many motions as the world:
One back and forward, in and out of shadow,
That got her nowhere; one more gradual,
Sideways, that would have run her on the stove
In time, had she not realized her danger
And caught herself up bodily, chair and all,
And set herself back where she started from.
"She ain't spick too much Henglish—dat's too bad."
I was afraid, in brightening first on me,
Then on Baptiste, as if she understood
What passed between us, she was only feigning.
Baptiste was anxious for her; but no more
Than for himself, so placed he couldn't hope
To keep his bargain of the morning with me
In time to keep me from suspecting him
Of really never having meant to keep it.

Needlessly soon he had his ax-helves out,
A quiverful to choose from, since he wished me

To have the best he had, or had to spare—
Not for me to ask which, when what he took
Had beauties he had to point me out at length
To insure their not being wasted on me.
He liked to have it slender as a whipstock,
Free from the least knot, equal to the strain
Of bending like a sword across the knee.
He showed me that the lines of a good helve
Were native to the grain before the knife
Expressed them, and its curves were no false curves
Put on it from without. And there its strength lay
For the hard work. He chafed its long white body
From end to end with his rough hand shut round it.
He tried it at the eye-hole in the ax-head.
"Hahn, hahn," he mused, "don't need much taking down."
Baptiste knew how to make a short job long
For love of it, and yet not waste time either.

Do you know, what we talked about was knowledge?
Baptiste on his defense about the children
He kept from school, or did his best to keep—
Whatever school and children and our doubts
Of laid-on education had to do
With the curves of his ax-helves and his having
Used these unscrupulously to bring me
To see for once the inside of his house.
Was I desired in friendship, partly as someone
To leave it to, whether the right to hold
Such doubts of education should depend
Upon the education of those who held them?

But now he brushed the shavings from his knee
And stood the ax there on its horse's hoof,
Erect, but not without its waves, as when
The snake stood up for evil in the Garden, —
Top-heavy with a heaviness his short,
Thick hand made light of, steel-blue chin drawn down

And in a little — a French touch in that.
Baptiste drew back and squinted at it, pleased;
“See how she’s cock her head!”

(1917) 1923 "New Hampshire"

Примечание.

Переводов стихотворения «Ax-Helve» на русский язык в интернете не обнаружено.

Голубика

"Представь себе, что нынче видел я вокруг,
дорогою в село сквозь Мортенсонов* луг:
какая вызрела - в полпальца - голубика.
Возьми собой ведёрко да взгляни-ка.
Туда посыплется небесно-синий град,
забарабаня, будто движется парад.
Она вся спелая - ни ягодки зелёной.
Кто будет первым, тот с наградою законной".

"Жаль, я не знаю той поляны потаённой?"

"Ты помнишь вырубку, где года два назад -
никак не более - губили всё подряд.
Потом, когда закончили то дело,
был осенью пожар - почти что всё горело".

"Там ни единый куст не вырос в этот срок,
и голубичник тоже бы не смог.
Его там не было в тени сосновой рощи.
Ни признака. Там почвы были тощи.
Теперь там выжжен весь былой сосняк,
и папоротник тоже там иссяк.
Ни травки нет. Нет зелени. Всё чисто.
Вдруг - presto - ягодки трезвонят, как мониста.
Почти иллюзион, как в цирке. Трюк артиста".

"Вняв запах ягод ты почуешь дух золы.
Там пеплом с сажею забиты все углы.
Плоды земли приобретают цвет эбена,
а ветер, их синя, туманит постепенно.
На пальцах всех, что предлагают тот товар,
всегда налёт, похожий на загар".

"Не жаль ли Мортенсону этого богатства?"

"Нет, он не скупердяй, не любит жаться.
Ему что ягоды, что шумные вьюрки.
И то, и это для него лишь пустяки.
(Он подражает добрякам-аборигенам)".

"А я дивлюсь, что ты не встретился с Лореном".

"Нет. Слава Богу! Увидал. Пустился в путь
затем, чтоб с края пастбища взглянуть
за изгородь и дальше - на дорогу.
Лоренов юных, с разным грузом, было много.
Там и Лорен-папаша стал на страже,
но нынче почему-то без поклажи".

"Увидел ли тебя? Что сделал? Был ли зол?"

"Он много раз кивнул мне - снизошёл.
Он очень вежлив, кто бы ни был рядом,
но о себе он мнит. Легко понять по взглядам.
По ним легко и размышления понять:
"Я уйму ягод не собрал опять.
Оставил зреть. Должно быть, сделал промах".

"Он первый скопидом из всех знакомых".

"Скорее бережлив, но он живёт в нужде.
Семья большая. Все заботы - о еде.
Он всех на ягодник приводит для жировки,
как птиц - клевать и делать заготовки.
Запас - на целый год, для кучи едоков,
а часть - в продажу, на покупку башмаков".

"Пусть скажут, что хотят! Но дивная метода -
жить только тем, что нам даёт Природа,
не угнетённая сохой и бороной".

"Увы! Всегда с согнутою спиной.
Ещё юнцы, а труд у них батрацкий
и странный вид, торжественно-дурацкий".

"Зато известно им всегда наперечёт,
какая ягода, когда и где растёт:
в трясинах - клюква, алая малина -
на каменистых склонах, у вершины.
Однажды шли они, и каждый нёс цветок,
воткнутый в полный свежих ягод туесок.
"А что за ягоды?" - спросил, стыдясь незнанья.
Ответили про них, что без названья".

"А как-то раз я приложил старанье,
чтоб спровоцировать Лорена-старика.
Сказал, что все вокруг, признав за знатока,
желают вызнать у него места для сбора.
Вот, думал я, получится умора.
Польщённый плут на то ответил скоро -
пообещал помочь, а год был очень плох:
росла одна трава да жёсткий серый мох.
Уж всё немногое, что вызрело, собрали.
Лорен однако говорил в запале,
как вежливый радушный мажордом:
"Да, я уверен. Я уверен, что найдём.
И заключил с серьёзным важным видом:
"Мадам, не даст солгать! Я все секреты выдам".

"Он счёл своими все природные дары.
Давай докажем, что всё это - до поры.
С утра, настроившись решительно и бодро,
пойдём на этот луг, лишь только было б вёдро.
Когда с зарёй роса рассыплет серебро,

в кустах теряешься, как поезд в тьме метро.
Мы бегали туда с тобой для сбора ягод,
ещё не ведая ни горестей, ни тягот.
Случалось там в кустах надолго скрыться
и, лишь увидев спугнутую птицу,
летевшую с гнезда через кусты,
я оттого угадывал, где ты.
А птица эта не сходила с ближних трасс,
взволнованно крича: "Вот здесь один из вас".
Порой казалось - ты удрал уже на милю.
Мне те исчезновения претили.
Раз, помню, выдал громкий-громкий крик,
а отклик тут же рядышком возник.
Ты вовсе никуда и не девался:
кусты густы, а не сбивался с галса".

Мы не захватим этот Рай, чтоб наслаждаться:
Лорены прибегут - сестрички, братцы.
Вся эта милая компания резва.
Не станут драться, но кивнут едва-едва.
Они считают, что имеют все права.
Займутся сбором. Мы тогда уйдём.
Но видели бы вы то место под дождём!
В листве все ягоды - блестящее виденье,
приманка для воров, как редкие каменья.

Blueberries

"You ought to have seen what I saw on my way
To the village, through Mortenson*'s pasture to-day:
Blueberries as big as the end of your thumb,
Real sky-blue, and heavy, and ready to drum
In the cavernous pail of the first one to come!
And all ripe together, not some of them green
And some of them ripe! You ought to have seen!"
"I don't know what part of the pasture you mean."
"You know where they cut off the woods - let me see -
It was two years ago - or no! - can it be
No longer than that? - and the following fall
The fire ran and burned it all up but the wall."
"Why, there hasn't been time for the bushes to grow.
That's always the way with the blueberries, though:
There may not have been the ghost of a sign
Of them anywhere under the shade of the pine,
But get the pine out of the way, you may burn
The pasture all over until not a fern
Or grass-blade is left, not to mention a stick,
And presto, they're up all around you as thick
And hard to explain as a conjuror's tri
ck."
"It must be on charcoal they fatten their fruit.
I taste in them sometimes the flavour of soot.
And after all really they're ebony skinned:
The blue's but a mist from the breath of the wind,
A tarnish that goes at a touch of the hand,
And less than the tan with which pickers are tanned."
"Does Mortenson* know what he has, do you think?"
"He may and not care and so leave the chewink

To gather them for him--you know what he is.
He won't make the fact that they're rightfully his
An excuse for keeping us other folk out."
"I wonder you didn't see Loren about."
"The best of it was that I did. Do you know,
I was just getting through what the field had to show
And over the wall and into the road,
When who should come by, with a democrat-load
Of all the young chattering Lorens alive,
But Loren, the fatherly, out for a drive."
"He saw you, then? What did he do? Did he frown?"
"He just kept nodding his head up and down.
You know how politely he always goes by.
But he thought a big thought--I could tell by his eye--
Which being expressed, might be this in effect:
'I have left those there berries, I shrewdly suspect,
To ripen too long. I am greatly to blame.'"
"He's a thriftier person than some I could name."
"He seems to be thrifty; and hasn't he need,
With the mouths of all those young Lorens to feed?
He has brought them all up on wild berries, they say,
Like birds. They store a great many away.
They eat them the year round, and those they don't eat
They sell in the store and buy shoes for their feet."
"Who cares what they say? It's a nice way to live,
Just taking what Nature is willing to give,
Not forcing her hand with harrow and plow."
"I wish you had seen his perpetual bow -
And the air of the youngsters! Not one of them turned,
And they looked so solemn-absurdly concerned."
"I wish I knew half what the flock of them know
Of where all the berries and other things grow,
Cranberries in bogs and raspberries on top
Of the boulder-strewn mountain, and when they will crop.
I met them one day and each had a flower
Stuck into his berries as fresh as a shower;
Some strange kind - they told me it hadn't a name."

"I've told you how once not long after we came,
I almost provoked poor Loren to mirth
By going to him of all people on earth
To ask if he knew any fruit to be had
For the picking. The rascal, he said he'd be glad
To tell if he knew. But the year had been bad.
There had been some berries - but those were all gone.
He didn't say where they had been. He went on:
'I'm sure - I'm sure' - as polite as could be.
He spoke to his wife in the door, 'Let me see,
Mame, we don't know any good berrying place?'
It was all he could do to keep a straight face.
"If he thinks all the fruit that grows wild is for him,
He'll find he's mistaken. See here, for a whim,
We'll pick in the Mortensons' pasture this year.
We'll go in the morning, that is, if it's clear,
And the sun shines out warm: the vines must be wet.
It's so long since I picked I almost forget
How we used to pick berries: we took one look round,
Then sank out of sight like trolls underground,
And saw nothing more of each other, or heard,
Unless when you said I was keeping a bird
Away from its nest, and I said it was you.

'Well, one of us is.' For complaining it flew
Around and around us. And then for a while
We picked, till I feared you had wandered a mile,
And I thought I had lost you. I lifted a shout
Too loud for the distance you were, it turned out,
For when you made answer, your voice was as low
As talking - you stood up beside me, you know."
"We sha'n't have the place to ourselves to enjoy -
Not likely, when all the young Lorens deploy.
They'll be there to-morrow, or even to-night.
They won't be too friendly - they may be polite -
To people they look on as having no right
To pick where they're picking. But we won't complain.
You ought to have seen how it looked in the rain,
The fruit mixed with water in layers of leaves,
Like two kinds of jewels, a vision for thieves."

1914 "North of Boston"

Примечание.

В русском переводе Вячеслава Толстова первая половина стихотворения «Blueberries» публикована в интернете на сайте Стихи.Ру.

*В другом варианте этого стихотворения фамилия владельца пастбища Patterson.

Родник, бутыль, ишачьи уши, книги

Близ Дэлтона* у Дэвиса открылась копь.
Старик за счёт неё мог сделаться богатым.
Сыскались бостонцы, хотевшие взглянуть:
по заключению, внутри горы, под толщей,
слюда в пластах была размерами с окно.
Так Дэвис и меня стал приглашать туда же.

"Да, я слыхал про те места. Ты не забыл,
ведь сам рассказывал, что, двигаясь на Запад,

в горах мормоны основали городок
с открытой солнцу каменной купелью,
но Смит, не то другой вожак, увёл их с гор
вперёд, в сраженье с западной пустыней.
Ты говорил, что видел ту купель.
Так покажи и мне".

"Когда-нибудь".

"Сегодня".

"Остатки старой ванны. Что там смотреть?
Обсудим здесь".

"Нет, только там, на месте".

"Что ж, успокойся. Расскажу, что стану делать:
сыщу родник. Надеюсь, он течёт и летом.
Объединимся, будем действовать вдвоём".

"Так он потерян?"
"Я надеюсь обнаружить.
Наверняка вокруг разросся лес.
Его я видел в восемьдесят пятом.
Возможно, он завален ".
"Немало лет прошло".

"Как помню, если не подводит память,
родник взыграл, и ванна протекла, теперь пуста.
За сорок лет расселась каменная кладка.
Мормона в ванне нам не увидать.
Родник укрылся - нужно обнаружить.
Я как старик, охотно уступаю
тебе теперь права руководить.
Ведь по натуре ты вожак".

"Согласен".

"Такому было б неприлично отказать".

Мы на день отрываемся от мира.
Идём туда, где-то подъём, то спуск.
Старик отнёсся к поискам серьёзно.
В сомнительных местах старался подсказать.

В обзорном месте встретились с утёсом.
Раскрашенная в яркий цвет,
не то обросшая зелёным мохом,
вверху стояла там немалая бутыль -
на погляденье удивлённому туристу.

"Хоть я и не довёл тебя до родника,
но вот стоит небезызвестная бутылка".

"Замены не приму. Она пуста".

"Но всё же что-то".

"Мне надобен источник".

"Когда б нашли родник, - он был бы так же сух.
Теперь, однако, всё же ясно, где мы".

"Так долго сомневался, туда ли мы пришли?"

"Ты понял? Мы вблизи мормонского селенья.
Нет, лучше отнесись ко мне как к вожаку,
не то придётся ночевать под небом.
Ручаюсь, мы сейчас невдалеке
от пары смежных склонов, где грозят лавины.
Вершина Маршалл - и крута, и высока,
а спуски - будто два ослиных уха.
Пойдём, посмотрим, так и день не пропадёт".

"Трясти ушами ради двух ослиных?"

"Ах, ради Бога! У тебя природа не в чести.
Не жалуешь ландшафты! Ты любишь книги.
Зачем тебе ишачьи уши и бутыль?
Живая красота! - Тебе ж подай лишь книги!
Отлично. Прямо здесь исполню твой заказ.
Ступай-ка прямо вниз с горы да быстро,
чтоб не свалиться - прыгая да вскок.
Достанется и коже, и коленкам.

Готовься. Я задумал и кое-что ещё".

Мы двинулись отвратной мне дорогой.
Мне снова выпал случай, чтоб вывалять в пыли
мои ботинки. Прошагали милю.
В конце той мили увидали прочный дом,
обшитый крепкою широкою панелью.
Я никогда там не был и не видел
таких добротных брошенных строений.

"Прости, что я зову тебя к окну,
оно проломано, - сказал мне Дэвис. -
А дверь снаружи нам пока не отомкнуть.
Хочу сказать о прежних постояльцах.
Здесь Робинсоны жили. Была семья.
О Кларе Робинсон ты, верно, слышал.
Она писала интересные стихи.
Был издан сборник этой поэтессы.
Писала о цветах, стоявших на окне,
и птицах, певших за её окошком.
О том, как были те ухожены при ней,
хотя уходом были заняты другие.
Сама была лежачею больной,
всегда в постели и оторванной от жизни.
Я покажу тебе, какой ей для цветов
устроили широкий подоконник.
Она оттуда наблюдала птиц.
В мансарде все её оставшиеся книги.

Мы шли, ступая на стеклянный бой.
Там, в доме было совершенно пусто.
Казалось, сохранились лишь стихи.
Но книги - не секрет - меня и занимали.
Из рога изобилия текла,
как будто бы из сердца поэтессы,
вся в нём накопленная нежная любовь.
Все книги россыпью лежали у окошка.
Раскрытый чемодан подставил их дождям.
Хватило бы снабдить в селе библиотеку,
Когда б то были разные тома.
Их все привёз из города издатель,
затем, чтобы вручить тираж семье.
Мальчишки и досужий сброд лупили -
на меткость - в беззащитное стекло.
Все этажи засыпали осколки.
Могла ль обиженная лирика спастись
вдали от тех, кому она нужна?
Когда стихи и их читатели в разлуке,
так некому избавить книгу от вреда.
А искусительная откровенность книги
летит по ветру из мансардного окна,
выходит из своей тугой обложки,
пытаясь развернуть не парус, так крыло,
летит, как птица (молчаливая в полёте,
но вся внутри настроенная петь).
Однако падает подстреленною птицей,
чтоб лечь в кустах, где нет прохода, и в камнях.
Но к этим книгам полагалось уваженье.
Они лежали там, покуда кто-нибудь
не выберет одну, посмотрит и положит,
опять на место, где их обрекли лежать.
В них содержалась жизнь угасшей поэтессы,
что не успела их продать или раздать.

"Возьми одну" - сказал радушный старый Дэвис.

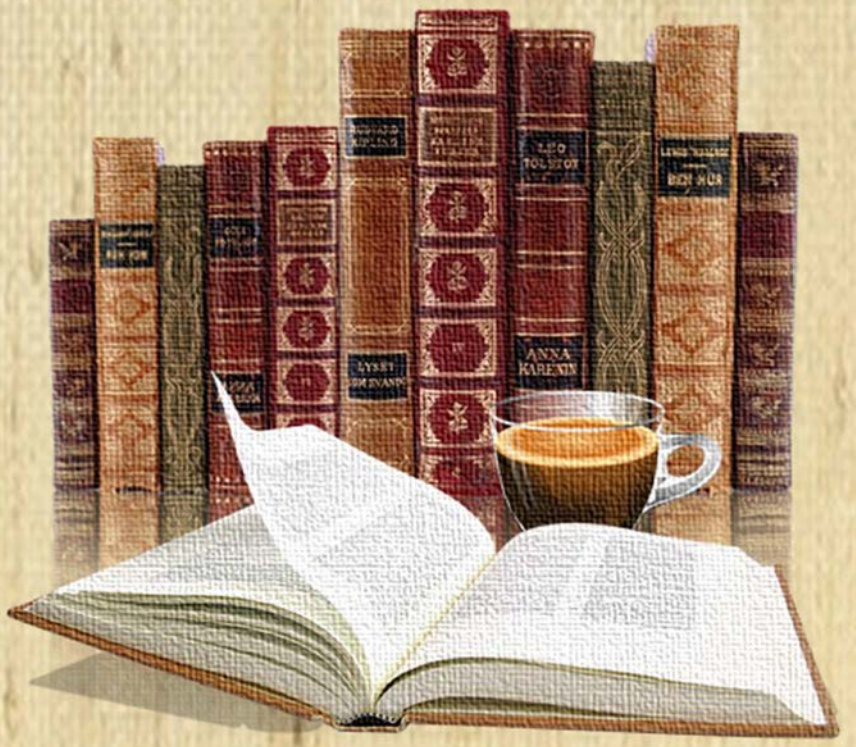
"Но почему не две, не три?"

"Бери хоть все.
Отлично выглядят". Он дал одну получше
в нетронутой обёртке, достав со дна.
Потом её погладил ласковым движеньем.
Он почитал одну, а я другую.
Смотрелись оба, как будто что-то там нашли.

Мансардная оса промчалась будто пуля.

Я время там провёл совсем не зря.

Дорогой к дому я всё время помнил
о томике в моём кармане. Он был там.
А поэтесса в небесах - я знал - вздохнула.
Ведь сердце облегчилось ещё на экземпляр.
Вполне по праву. И моё вниманье
пришлось ей по душе. Её давил буксир.
Она б охотно сразу отдала все книжки.



A Fountain, a Bottle, a Donkey's Ears, and Some Books

Old Davis owned a solid mica mountain
In Dalton that would someday make his fortune.
There'd been some Boston people out to see it:
And experts said that deep down in the mountain
The mica sheets were big as plate-glass windows.
He'd like to take me there and show it to me.

"I'll tell you what you show me. You remember
You said you knew the place where once, on Kinsman,
The early Mormons made a settlement
And built a stone baptismal font outdoors —
But Smith, or someone, called them off the mountain
To go West to a worse fight with the desert.
You said you'd seen the stone baptismal font.
Well, take me there."

Someday I will."

"Today."

"Huh, that old bathtub, what is that to see?
Let's talk about it."

"Let's go see the place."

"To shut you up I'll tell you what I'll do:
I'll find that fountain if it takes all summer,
And both of our united strengths, to do it."

"You've lost it, then?"

"Not so but I can find it.
No doubt it's grown up some to woods around it.

The mountain may have shifted since I saw it
In eighty-five."

"As long ago as that?"

"If I remember rightly, it had sprung
A leak and emptied then. And forty years
Can do a good deal to bad masonry.
You won't see any Mormon swimming in it.
But you have said it, and we're off to find it.
Old as I am, I'm going to let myself
Be dragged by you all over everywhere —"
"I thought you were a guide."

"I am a guide,
And that's why I can't decently refuse you."

We made a day of it out of the world,
Ascending to descend to reascend.
The old man seriously took his bearings,
And spoke his doubts in every open place.

We came out on a look-off where we faced
A cliff, and on the cliff a bottle painted,
Or stained by vegetation from above,
A likeness to surprise the thrilly tourist.

"Well, if I haven't brought you to the fountain,
At least I've brought you to the famous Bottle."

"I won't accept the substitute. It's empty."

"So's everything."

"I want my fountain."

"I guess you'd find the fountain just as empty.
And anyway this tells me where I am."

"Hadn't you long suspected where you were?"

"You mean miles from that Mormon settlement?
Look here, you treat your guide with due respect
If you don't want to spend the night outdoors.
I vow we must be near the place from where
The two converging slides, the avalanches,
On Marshall, look like donkey's ears.
We may as well see that and save the day."

"Don't donkey's ears suggest we shake our own?"

"For God's sake, aren't you fond of viewing nature?
You don't like nature. All you like is books.
What signify a donkey's cars and bottle,
However natural? Give you your books!
Well then, right here is where I show you books.
Come straight down off this mountain just as fast
As we can fall and keep a-bouncing on our feet.
It's hell for knees unless done hell-for-leather."

Be ready, I thought, for almost anything.

We struck a road I didn't recognize,
But welcomed for the chance to lave my shoes
In dust once more. We followed this a mile,
Perhaps, to where it ended at a house
I didn't know was there. It was the kind
To bring me to for broad-board paneling.
I never saw so good a house deserted.

"Excuse me if I ask you in a window
That happens to be broken, Davis said.
"The outside doors as yet have held against us.
I want to introduce you to the people
Who used to live here. They were Robinsons.
You must have heard of Clara Robinson,
The poetess who wrote the book of verses
And had it published. It was all about

The posies on her inner windowsill,
And the birds on her outer windowsill,
And how she tended both, or had them tended:
She never tended anything herself.
She was 'shut in' for life. She lived her whole
Life long in bed, and wrote her things in bed.
I'll show You how she had her sills extended
To entertain the birds and hold the flowers.
Our business first's up attic with her books."

We trod uncomfortably on crunching glass
Through a house stripped of everything
Except, it seemed, the poetess's poems.
Books, I should say! - if books are what is needed.
A whole edition in a packing case
That, overflowing like a horn of plenty,
Or like the poetess's heart of love,
Had spilled them near the window, toward the light
Where driven rain had wet and swollen them.
Enough to stock a village library —
Unfortunately all of one kind, though.
They bad been brought home from some publisher
And taken thus into the family.
Boys and bad hunters had known what to do
With stone and lead to unprotected glass:
Shatter it inward on the unswept floors.
How had the tender verse escaped their outrage?
By being invisible for what it was,
Or else by some remoteness that defied them
To find out what to do to hurt a poem.
Yet oh! The tempting flatness of a book,
To send it sailing out the attic window
Till it caught wind and, opening out its covers,
Tried to improve on sailing like a tile
By flying like a bird (silent in flight,
But all the burden of its body song),
Only to tumble like a stricken bird,

And lie in stones and bushes unretrieved.
Books were not thrown irreverently about.
They simply lay where someone now and then,
Having tried one, had dropped it at his feet
And left it lying where it fell rejected.
Here were all those the poetess's life
Had been too short to sell or give away.

"Take one," Old Davis bade me graciously.

"Why not take two or three?"

"Take all you want."
Good-looking books like that." He picked one fresh
In virgin wrapper from deep in the box,
And stroked it with a horny-handed kindness.
He read in one and I read in another,
Both either looking for or finding something.

The attic wasps went missing by like bullets.

I was soon satisfied for the time being.

All the way home I kept remembering
The small book in my pocket. It was there.
The poetess had sighed, I knew, in heaven
At having eased her heart of one more copy —
Legitimately. My demand upon her,
Though slight, was a demand. She felt the tug.
In time she would be rid of all her books.

1923 "New Hampshire"

Примечание.

Переводов этого стихотворения «A Fountain, a Bottle, a Donkey's Ears, and Some Books» на русский язык в интернете не обнаружено.

***Дэлтон** - название многих городов и городков в США, Англии, Канаде. В том числе в Массачусеттсе (около 7 тысяч жителей) и в Нью Хэмпшире (около одной тысячи жителей), есть деревушка Дэлтон в штате Нью-Йорк...

Начитанный фермер и планета Венера

Научно-популярная мешанина по поводу таинственного света, который недавно наблюдался по вечерам в западной стороне неба.

Я стукнул в дверь, в ответ на этот шум
нежданно загремел шурум-бурум.
Стучали стулья, зазвенели склянки.
Крик вспыхнул, как в сенатской перебранке.
Здоровый фермер вышел на порог,
подобный мне, и с ним детей с пяток.
Я выбрал час удобный для визита.
Хозяин вышел к гостю не сердито.

"Я к вам пришёл поздравить со звездой,
чью красоту мы видим над собой.
Мне кажется, то Солнце, всё в сиянье,
блеснувшее пред нами в час прощанья,
которое не хочет затонуть,
а уменьшается, собравшись в путь, -
сжимается до малого размера,
а вслед за тем темнеет атмосфера.
Но перед смертью Солнце смотрит вслед:
как встречен был уход: грустят иль нет?
Закат прошёл. Неужто Солнце село?
Ручаться в этом было б слишком смело.
И о другом: нельзя ль к Вам на ночь в дом?
А нет - хоть напоите молоком".

"Я, путник, с этой темою знаком.
Ты сам постиг, её решают ложно,
а разобраться в ней довольно сложно,

но надобно - детально и всерьёз.
То глас судьбы внушил тебе вопрос:
объект, чей свет сегодня необычен, -
серьёзен, важен, очень непривычен,
схож со звездой, но от неё отличен.
Он светит нам уже не первый год,
хоть думали - недолго проживёт.
То включена техническая схема -
её зовут "звездою Вифлеема".
Что ж это за звезда с бейсбольный мячик,
хитрее всяких умственных задачек?
Там нет звезды особенного свойства -
там патентованное вновь устройство.
То просто электрическая сеть,
что призвана без устали гореть, -
одна из самых перспективных версий,
придуманная парнем из Нью Джерси.
Когда не шутит этот чудодей,
мы превратимся в новый вид людей.
Труд Дарвина о предках человека
отвергнут за последние полвека.
Считаю, уж пора предусмотреть,
во что должны мы превратиться впредь".

"Мы - либералы, значит, мы не будем
помехой жить любым приличным людям.
Цвет кожи впредь не будем брать в расчёт.
(И раса белых пусть себе живёт!).
Пуэбло, различаясь по культуре,
продвинулись в своей архитектуре.
И лектор, восхвалявший племена,
взывал, чтоб та была сохранена.
(Но первым делом адвокат народа
просил скорей покрыть его расходы).
Ушёл бы тот "Мэйфлауэр" назад,
и краснокожих не загнали б в ад!
Пусть вправду обновятся поколенья.

Но почему же это излученье
не свет звезды?"

"Ты должен верить мне.
Посмотришь и уверишься вполне.
В безоблачную ночь глянь вверх, взирая
на пункт вблизи от западного края.
Потом спусти глаза тихонько вниз.
Из города не видно, где повис
светильник - тот, что здесь я наблюдаю.
Ты ж горожанин, как подозреваю.
Придуман сверхполезный инвентарь,
чтоб ночь нам освещал один фонарь.
При помощи единого баллонца
достигнется эффект дневного Солнца".

"Но ведь без звёзд у неба нет лица,
в них - суть небес в оценке мудреца.
Они священней всяких ламп и дуг.
Они оберегают наш досуг,
мерцая и искря во тьме вокруг.
Прерывистое звёздное свеченье
снимает с наших нервов напряженье
и обрывает мысли на лету,
когда раздумья нам невмоготу".

"Сентиментальные больные речи!
Ты не добьёшься истины, переча.
В тебе не возникает интерес
к тому, что обеспечит нам прогресс.
Невежда под невинной маской!
Тебя потом пробудят крепкой встряской.
Не жди добра, освободив раба.
Натура их нелепа и груба".

"Вы думаете, мир спасётся под плафоном,
придуманным великим Эдисоном".

"Вот это верно. Спорить нет причин.
Есть в Джерси старикан - сказал мне сын -
в котором тяга к сну легко пропала
от света ламп высокого накала.
С прогрессом всё доступней быстрота.
Теперь нужна нам анти-темнота -
дешёвый свет на протяженье суток,
чтоб не терять напрасно ни минуток.
Чтоб был скачок в грядущее свершён,
изгоним прочь медлительность и сон.
Старик, не ставший спать, твердил особо:
от сна мы пухнем, только копим злобу.
Нам нужно, чтоб уродами не стать,
привычка и умение вставать.
Как стал не с той ноги, так беспокойно.
Тогда мы злы и даже непристойны.
Быть может, оттого все наши войны.
Удачно встав, мы - злобе вопреки -
избавимся от горя и тоски.
Сама судьба дала нам две руки,
чтоб мы могли любить и ненавидеть:
на выбор - помогать, не то обидеть.
Нельзя чрезмерно злобствовать, резвясь.
Обиды разрывают нашу связь.
Там, где лишь раз повздорили буяны,
часты незаживающие раны.
Нам очень важен правильный подъём -
тогда наш день не кончится битьём.
Такое средство было б очень кстати,
да нет надёжной стороны в кровати.
Ты хочешь, чтоб любовь цвела в груди -
кровать подводит, как ни подойди,
а сон обманет: раз, и два, и двадцать.
Один лишь выход - с ним совсем расстаться.
Конечно, в ситуации такой
все раскладушки обретут покой.
Кровати проживут ещё с полвека.

Лишь стулья и столы для человека
ещё продолжит делать лесосека.
Но думать обо всём должны не мы.
На это есть великие умы.
Мы обсуждаем близкие нам темы,
но есть и прочие неясные проблемы:
какой огонь взлетит до небосвода
от трения брусков о старую колоду
и что за птица мчалась на свободу
из мрачных нор пещерного народа"...

"О этот дивный свет нам выпавшего года!"

The Literate Farmer And The Planet Venus

A Dated Popular-Science Medley on a Mysterious Light Recently Observed in the Western Sky at Evening

My unexpected knocking at the door
Started chairs thundering on the kitchen floor,
Knives and forks ringing on the supper plates,
Voices conflicting like the candidates.
A mighty farmer flung the house door wide,

He and a lot of children came outside,
And there on an equality we stood.
That's the time knocking at a door did good.

'I stopped to compliment you on this star
You get the beauty of from where you are.
To see it so, the bright and only one
In sunset light, you'd think it was the sun

That hadn't sunk the way it should have sunk,
But right in heaven was slowly being shrunk
So small as to be virtually gone,
Yet there to watch the darkness coming on -
Like someone dead permitted to exist
Enough to see if he was greatly missed.
I didn't see the sun set. Did it set?
Will anybody swear that isn't it?
And will you give me shelter for the night?
If not, a glass of milk will be all right.'

'Traveler, I'm glad you asked about that light.
Your mind mistrusted there was something wrong,
And naturally you couldn't go along
Without inquiring if 'twas serious.
'Twas providential you applied to us,
Who were just on the subject when you came.
There is a star that's Serious by name
And nature too, but this is not the same.
This light's been going on for several years,
Although at times we think it disappears.
You'll hear all sorts of things. You'll meet with them
Will tell you it's the star of Bethlehem
Above some more religion in a manger.
But put that down to superstition, Stranger.
What's a star doing big as a baseball?
Between us two it's not a star at all.
It's a new patented electric light,
Put up on trial by that Jerseyite
So much is being now expected of,
To give developments the final shove
And turn us into the next specie folks
Are going to be, unless these monkey jokes
Of the last fifty years are all a libel,
And Darwin's proved mistaken, not the Bible.
I s'pose you have your notions on the vexed
Question of what we're turning into next.'

'As liberals we're willing to give place
To any demonstrably better race,
No matter what the color of its skin.
(But what a human race the white has been!)
I heard a fellow in a public lecture
On Pueblo Indians and their architecture
Declare that if such Indians inherited
The condemned world the legacy was merited.
So far as he, the speaker, was concerned
He had his ticket bought, his passage earned,
To take the Mayflower back where he belonged
Before the Indian race was further wronged.
But come, enlightened as in talk you seem,
You don't believe that that first-water gleam
Is not a star?'

'Believe it? Why, I know it.
Its actions any cloudless night will show it.
You'll see it be allowed up just so high,
Say about halfway up the western sky,
And then get slowly, slowly pulled back down.
You might not notice if you've lived in town,
As I suspect you have. A town debars
Much notice of what's going on in stars.
The idea is no doubt to make one job
Of lighting the whole night with one big blob
Of electricity in bulk the way
The sun sets the example in the day.'

'Here come more stars to character the skies,
And they in the estimation of the wise
Are more divine than any bulb or arc,
Because their purpose is to flash and spark,
But not to take away the precious dark.
We need the interruption of the night
To ease attention off when overtight,
To break our logic in too long a flight,

And ask us if our premises are right.'

'Sick talk, sick talk, sick sentimental talk!
It doesn't do you any good to walk.
I see what you are: can't get you excited
With hopes of getting mankind unbenighted.
Some ignorance takes rank as innocence.
Have it for all of me and have it dense.
The slave will never thank his manumitter;
Which often makes the manumitter bitter.'

'In short, you think that star a patent medicine
Put up to cure the world by Mr. Edison.'

'You said it—that's exactly what it is.
My son in Jersey says a friend of his
Knows the old man and nobody's so deep
In incandescent lamps and ending sleep.
The old man argues science cheapened speed.
A good cheap anti-dark is now the need.
Give us a good cheap twenty-four-hour day,
No part of which we'd have to waste, I say,
And who knows where we can't get! Wasting time
In sleep or slowness is the deadly crime.
He gave up sleep himself some time ago,
It puffs the face and brutalizes so.
You take the ugliness all so much dread,
Called getting out of the wrong side of bed
That is the source perhaps of human hate,
And well may be where wars originate.
Get rid of that and there'd be left no great
Of either murder or war in any land.
You know how cunningly mankind is planned:
We have one loving and one hating hand.
The loving's made to hold each other like,
While with the hating other hand we strike.

The blow can be no stronger than the clutch,
Or soon we'd bat each other out of touch,
And the fray wouldn't last a single round.
And still it's bad enough to badly wound,
And if our getting up to start the day
On the right side of bed would end the fray,
We'd hail the remedy. But it's been tried
And found, he says, a bed has no right side.
The trouble is, with that receipt for love,
A bed's got no right side to get out of.
We can't be trusted to the sleep we take,
And simply must evolve to stay awake.
He thinks that chairs and tables will endure,
But beds—in less than fifty years he's sure
There will be no such piece of furniture.
He's surely got it in for cots and beds.
No need for us to rack our common heads
About it, though. We haven't got the mind.
It best be left to great men of his kind
Who have no other object than our good.
There's a lot yet that isn't understood.
Ain't it a caution to us not to fix
No limits to what rose in rubbing sticks
On fire to scare away the pterodix
When man first lived in caves along the creeks?'

'Marvelous world in nineteen-twenty-six.'

(1926) 1942 "A Witness Tree"

Примечание.

Ни один русский перевод стихотворения «The Literate Farmer And The Planet Venus» в интернете не обнаружен. Автор предполагал, что сочиняет в своих стихах рождественскую историю.

Жена Пола

Чтоб выгнать Пола из посёлка,
бывало нужно лишь ему сказать:
"Пол, как твоя жена?" - он исчезал.
Одни считали - нет жены у Пола;
такой вопрос его лишь раздражал.
Другие думали - завёл когда-то,
да ненадолго и теперь оставил.
Ещё твердили, что была хорошей,
но убежала с кем-то. Он - один.
Теперь я слышу - разыскал другую,
и, если кто-нибудь хоть что-то скажет,
он вспоминает тотчас же свой долг:
несётся прямиком её проведать,
как бы подумав: "Впрямь, как там моя жена?
Надеюсь, что беды не приключилось".
Но Пола гнать никто и не желал.
В лесном посёлке он прослыл героем,
когда с изрядной лиственницы целиком
снял всю кору затем, чтобы похвастать.
Так мальчуганы ивовый пруток,
бывает, очищают в воскресенье,
в апреле на лужайке у ручья,
чтоб вышла звонкая свистулька.
Привыкли, встретив, задавать ему вопрос:
"Пол, как твоя жена?" - и он скрывался.
Другой бы за такой вопрос убил,
а Пол предпочитал исчезнуть.
Но вот куда, никто того не знал,
хотя обычно, раньше или позже,
его могли найти в другом посёлке -
того же Пола, лесоруба-удальца.
Повсюду головы ломали над загадкой.

чем был обиден тот учтивейший вопрос,
Какая в нём скрывается подначка:
четыре кратких слова. В чём секрет?
Возможно, что-то есть постыдное для Пола:
не заключил ли он неравный брак
и этим угнетён. Такому молодчаге
положена была геройская жена;
а он себе, взамен, взял сквау из метисов.
Но, если быль, что Мерфи рассказал, верна,
то не было причин, чтоб Пол стыдился.

Пол был из тех, что совершают чудеса.
Бывало, лошади упрямились под грузом,
так Пол их усмирял, не дав им лечь:
подтягивал расслабленную упряжь;
умел стянуть все сыромятные ремни.
И босса уверял, что всё в порядке:
"Ваш груз потянет Солнце!" - Он не лгал.
Он знал, как следует грузить большую тяжесть.
Свой способ называл распялкой. Сверх того
никто, как он, не прыгал.
Подскок с земли - и пара ног у потолка,
затем надёжно приземлялся на пол.
Пускай не правда, но почти что правда.
И есть такая байка: будто выпилил жену
из белого бревна. А Мерфи был там.
Сам видел, так сказать, как леди родилась.
Пол подрядился в этот раз на пилораму,
был занят там тасканием досок.
Забыл сказать, там был упрямый пильщик -
всё пробовал взвалить на Пола груз,
чтоб Пол от тяжести взмолился о пощаде.
Вдруг пильщику пришлось послать каретку вспять,
когда пилили ствол с громадным комлем.
Конец столкнулся с зубьями пилы.
Представить трудно, как те двое устояли,
когда увидели, что сделалось с бревном.

Винить ли их, что вдруг оцепенели,
когда раздался аварийный стук.
Возникла чёрная полоска смазки
по всей длине пилёного бревна,
за исключением, пожалуй, только комля.
Когда же Пол потрогал пальцем, что течёт,
то течи никакой не оказалось.
В бревне был паз, в средине - пусто.
"Впервые вижу полую сосну.
Всё оттого, что этот Пол вокруг вертелся. -
Воскликнул пильщик. - Чтоб он убрался в Ад."
Все те, что были там, сказали Полу,
как поступить. (Он был для них своим).
"Вооружись ножом и поработай.
Расширишь полость - и получится челнок.
А дальше отправляйся на рыбалку.
Была та полость чистой, гулкой и пустой.
В ней не селились птицы, звери или пчёлы.
Чтоб те проникли, не имелось дыр.
Дупло казалось Полу необычным.
Он понял: лучше потрудиться в нём с ножом.
Вернулся вечером, закончивши работу.
Стал резать, чтоб в дупле был свет
и убедиться, что дупло пустое.
Он выскреб с горсть чего-то, но не знал,
то сердцевина или клок змеиной кожи.
Змея ушла, а этот клок остался.
Должно быть, дерево росло сто лет.
А он дорежет и, обняв покрепче,
снесёт челнок на ближний пруд.
Пол представлял себе уже в воде ту лодку.
Её не ветер, просто воздух там обдаст...
И Пол несёт её тихонько ближе к пляжу,
где ветер просто рвёт её из рук.
Пол ставит лодку у воды, чтоб напилась.
Один глоток, она шуршит, как обессилев.
Второй глоток - и стала невидна.

Пол пальцами прочёсывает отмель.
Челнок растаял. Нет его, исчез...
Вот за открытою водой, за тучей мошек,
прижалось к бону то плавучее бревно...
И вырос кто-то, девушка явилась!
Груз смоченных волос лежал на ней как шлем.
Она смотрела, обхватив на бревно, на Пола.
Пол обернулся, чтоб проверить за спиной,
кто там стоит и на кого глядит девица.
(Там был всё время Мерфи - наблюдал,
стоял в сарае, так что был невиден).
Она ждала с тревогой.
Она - как родилась.
Казалось, будто ожила коряга.
Сперва с трудом, но стала вдруг дышать,
затем, смеясь, решила подниматься,
пошла, заговорив - не с Полом, так с собой,
как аллигатора, перешагнула лодку.
Пол двинулся за ней вокруг пруда.

На следующий вечер Мерфи, выпив,
отправился с компанией друзей
искать ту парочку на склонах Катамаунт*.
Оттуда с высоты был чудный вид
на дальние холмы за скрюченной долиной.
Как Мерфи рассказал, когда стемнело,
они увидели там Пола и созданье -
грядущую хозяйку. Увидели лишь раз,
с тех пор, как Мерфи подглядел их встречу
в туманной полумгле на мельничном пруду.
Та пара шла сквозь пустошь больше мили.
На полпути вдвоём сидели на скале,
в малюсенькой пещерке, и девица
там воссияла ярче, чем звезда,
а Пол был с нею рядом вроде тени.
И свет шёл от девицы - не от звёзд.
Так стало ясно из того, что было после.

Хулиганьё соединило все их глотки.
Они издали вопль и бросили бутылку -
как грубую их дань почтенья красоте.
Бутылка, ясно, далеко не улетела,
а крик дошёл. Девица уняла свой свет.
Она, как светлячок погасла.

Итак, свидетели, что Пол женат, нашлись.
И очень многим стало стыдно.
Судя о Поле, разносили болтовню.
Но Мерфи мне сказал, что Пол их и не слушал.
Жену завёл он только для себя.
Пол был, что называют "хищный обладатель".
Хотел её держать в своих руках,
и чтоб никто не вмешивался в дело,
чтоб не хвалили и не вспоминали,
и был бы рад, чтоб и не думали о ней.
А Мерфи говорил о людях вроде Пола,
пускай они всегда молчат о жёнах,
всем без того известно, что о них сказать.

Paul's Wife

To drive Paul out of any lumber camp
All that was needed was to say to him,
"How is the wife, Paul?" - and he'd disappear.
Some said it was because be had no wife,
And hated to be twitted on the subject;
Others because he'd come within a day
Or so of having one, and then been jilted;
Others because he'd had one once, a good one,
Who'd run away with someone else and left him;
And others still because he had one now
He only had to be reminded of -
He was all duty to her in a minute:
He had to run right off to look her up,
As if to say, "That's so, how is my wife?
I hope she isn't getting into mischief."
No one was anxious to get rid of Pau.
He'd been the hero of the mountain camps
Ever since, just to show them, he bad slipped
The bark of a whole tamarack off whole
As clean as boys do off a willow twig
To make a willow whistle on a Sunday
April by subsiding meadow brooks.
They seemed to ask him just to see him go,
"How is the wife, Paul?" and he always went.
He never stopped to murder anyone
Who asked the question. He just disappeared -
Nobody knew in what direction,
Although it wasn't usually long
Before they beard of him in some new camp,
The same Paul at the same old feats of logging.

The question everywhere was why should Paul
Object to being asked a civil question -
A man you could say almost anything to
Short of a fighting word. You have the answers.
And there was one more not so fair to Paul:
That Paul had married a wife not his equal.
Paul was ashamed of her. To match a hero
She would have had to be a heroine;
Instead of which she was some half-breed squaw.
But if the story Murphy told was true,
She wasn't anything to be ashamed of.

You know Paul could do wonders. Everyone's
Heard how he thrashed the horses on a load
That wouldn't budge, until they simply stretched
Their rawhide harness from the load to camp.
Paul told the boss the load would be all right,
"The sun will bring your load in" - and it did -
By shrinking the rawhide to natural length.
That's what is called a stretcher. But I guess
The one about his jumping so's to land
With both his feet at once against the ceiling,
And then land safely right side up again,
Back on the floor, is fact or pretty near fact.
Well, this is such a yarn. Paul sawed his wife
Out of a white-pine log. Murphy was there
And, as you might say, saw the lady born.
Paul worked at anything in lumbering.
He'd been hard at it taking boards away
For - I forget - the last ambitious sawyer
To want to find out if he couldn't pile
The lumber on Paul till Paul begged for mercy.
They'd sliced the first slab off a big butt log,
And the sawyer had slammed the carriage back
To slam end-on again against the saw teeth.
To judge them by the way they caught themselves
When they saw what had happened to the log,

They must have had a guilty expectation
Something was going to go with their slambanging.
Something bad left a broad black streak of grease
On the new wood the whole length of the log
Except, perhaps, a foot at either end.
But when Paul put his finger in the grease,
It wasn't grease at all, but a long slot.
The log was hollow. They were sawing pine.
"First time I ever saw a hollow pine.
That comes of having Paul around the place.
Take it to hell for me," the sawyer said.
Everyone had to have a look at it
And tell Paul what he ought to do about it.
(They treated it as his.) "You take a jackknife,
And spread the opening, and you've got a dugout
All dug to go a-fishing in." To Paul
The hollow looked too sound and clean and empty
Ever to have housed birds or beasts or bees.
There was no entrance for them to get in by.
It looked to him like some new kind of hollow
He thought he'd better take his jackknife to.
So after work that evening be came back
And let enough light into it by cutting
To see if it was empty. He made out in there
A slender length of pith, or was it pith?
It might have been the skin a snake had cast
And left stood up on end inside the tree
The hundred years the tree must have been growing.
More cutting and he had this in both hands,
And looking from it to the pond nearby,
Paul wondered how it would respond to water.
Not a breeze stirred, but just the breath of air
He made in walking slowly to the beach
Blew it once off his hands and almost broke it.
He laid it at the edge, where it could drink.
At the first drink it rustled and grew limp.
At the next drink it grew invisible.

Paul dragged the shallows for it with his fingers,
And thought it must have melted. It was gone.
And then beyond the open water, dim with midges,
Where the log drive lay pressed against the boom,
It slowly rose a person, rose a girl,
Her wet hair heavy on her like a helmet,
Who, leaning on a log, looked back at Paul.
And that made Paul in turn look back
To see if it was anyone behind him
That she was looking at instead of him.
(Murphy had been there watching all the time,
But from a shed where neither of them could see him.)
There was a moment of suspense in birth
When the girl seemed too waterlogged to live,
Before she caught her first breath with a gasp
And laughed. Then she climbed slowly to her feet,
And walked off, talking to herself or Paul,
Across the logs like backs of alligators,
Paul taking after her around the pond.

Next evening Murphy and some other fellows
Got drunk, and tracked the pair up Catamount,
From the bare top of which there is a view
TO other hills across a kettle valley.
And there, well after dark, let Murphy tell it,
They saw Paul and his creature keeping house.
It was the only glimpse that anyone
Has had of Paul and her since Murphy saw them
Falling in love across the twilight millpond.
More than a mile across the wilderness
They sat together halfway up a cliff
In a small niche let into it, the girl
Brightly, as if a star played on the place,
Paul darkly, like her shadow. All the light
Was from the girl herself, though, not from a star,
As was apparent from what happened next.
All those great ruffians put their throats together,

And let out a loud yell, and threw a bottle,
As a brute tribute of respect to beauty.
Of course the bottle fell short by a mile,
But the shout reached the girl and put her light out.
She went out like a firefly, and that was all.

So there were witnesses that Paul was married
And not to anyone to be ashamed of
Everyone had been wrong in judging Paul.
Murphy told me Paul put on all those airs
About his wife to keep her to himself.
Paul was what's called a terrible possessor.
Owning a wife with him meant owning her.
She wasn't anybody else's business,
Either to praise her or much as name her,
And he'd thank people not to think of her.
Murphy's idea was that a man like Paul
Wouldn't be spoken to about a wife
In any way the world knew how to speak.

1923 "New Hampshire".

Примечание.

В интернете переводов стихотворения «Paul's Wife» на русский язык обнаружить не удалось.

***Catamount** - известное место горных лыжных катаний на стыке двух штатов, близ городков Хиллсдэйл (штат Нью Йорк) и Эгремонт (Массачусеттс).

Клён

Учительница заявила Мейпл,
что есть лишь имя Мейбл, а Мейпл - не имя.
Девчушка бросилась к отцу. Он подтвердил:
"Мейпл - правильно".
"Учительница в школе

не согласилась".
"Но родителям видней,
чем педагогам, как назвать ребёнка.
Скажи ей чётко и по буквам: M-A-P-L-E.
Спроси: знакомы ль ей деревья клёны.
Тебе дала такое имя мать.
Сюда по лестнице мы входим:
одна по ней вступает в жизнь,
другая покидает - поняла ли?
О ней ты будешь знать всего чуть-чуть.
Она тебе вдавила палец в щёку.
Там ямка и теперь, должно быть, оттого...
Сказала: "Клён". Добавила: "Чем вам не имя?"
Потом кивнула мне: хотела подтвердить.
Не знаю, что она держала в мыслях,
возможно, что желала завещать
быть доброй девочкой - такой как эти клёны:
предполагаю, доброй к людям, как они.
Чтоб в будущем переняла у них хоть что-то.
Сейчас, пока мала, я многого не жду.
Я постепенно расскажу, что знаю:
и о деревьях, и о всяком, о другом,
да и о матери, всё то, что будет нужно". -
То был опасный сев у девочки душе.
Тогда же, к счастью, ей хотелось
всего лишь дать, со слов отца, отпор
своей учительнице в следующий день.
Другое было для неё пока излишне.
Отец пытался не винить себя ни в чём.
Считал, что дочь про всё забудет, но напрасно.
Всё то, что сеял, в ней сперва заснёт,
чтоб дальше мучить долго - вплоть до смерти.
Потом всё сказанное будет оживать,
дав разные цветы от давнего посева,
представ, колеблясь в зеркалах любого дня,
когда придётся называться вслух
и нежно подтверждать, что скажет,

при этом всё же опустив глаза.
Что ж было в имени её? Оно имело
гораздо более значений, чем иные.
Вот Мэрджори, вот Лесли, Кэрол, Ирма -
слова без смысла. Вот у Розы - смысл простой.
(Она знавала Роз. Быть Розой не хотела).
Но странным было имя Мейпл,
и на неё глядели с пристальным вниманьем.
(Но смысла имени всем было не понять).
Сама хотела разгадать загадку:
касалось ли оно костюма и манер?
Что мать могла в ней разглядеть когда-то?
Ведь та хотела лишь добра и красоты,
к каким сама привыкла в отчем доме:
по фронту лишь с одним высоким этажом,
но с трёхэтажным блоком у дороги.
(Там был приятно освещённым даже погреб).
Отец не тронул материнской спальни,
и можно было посмотреть, где умерла.
И дочь сыскала в Библии закладку -
кленовый лист, положенный туда,
возможно, для неё. И дочка прочитала
дословно две страницы, где был зажат листок.
Как будто это мать с ней говорила.
Но позабыла положить листок обратно,
и место, где взяла, уж было не найти.
Но помнила, что ничего там не узнала.

Она глядела на себя извне,
как все, что смотрят на себя снаружи.
Ища саму себя по временам, хоть иногда,
она всё больше приобщалась к чтенью,
старалась размышлять, пошла учиться в город.
И выучилась на стенографистку,
решив, что так быстрей решит и свой вопрос.
А вслед за этим оказалась в странном месте,
попав на девятнадцатый этаж.

Там Мейпл, держа блокнот, фиксировала речи,
а в паузах, подняв свои глаза,
могла увидеть приближенье дирижабля,
чудно плывущего по небу корабля
с его тревожащим неясным рёвом
над высочайшим городом земли...
Вдруг кто-то ей сказал обычным тоном,
пока она вносила фразу в свой блокнот:
"Ну, до чего же вы на деревце похожи -
на клён".
"По имени, я - Мейпл. Секрет простой".

"Но вы же Мейбл? Вы - Мейбл. Я это знаю!"

"Здесь в офисе меня перекрестили в Мейбл.
Я им позволила, раз это им по нраву".

Они дивились, как сумел он разгадать,
не зная имени, с ним связанную тайну.
Им показалось - в этом что-то есть.
Часть тайны ей открылась. Они венчались.
В совместную их жизнь вошёл секрет.

Они наведались в отцовское жилище.
(по фронту лишь с одним высоким этажом,
но с трёхэтажным блоком у дороги).
Хотели глянуть на деревья, нет ли там
такого, что она забыла. Не сыскали.
Ни одиночки, чтоб давало тень,
ни купы клёнов в роли сахарного сада.
Она сказала мужу про листок,
закладку в книге Ветхого Завета.
Она запомнила в прочтённом пару слов
о непонятном "приношенье ревнованья*".

"Ты не спросила ли об этом у отца?"

"Хотела, было, но чего-то испугалась".
(Она забыла, память подвела.
Спросила, но отец не дал ответа).

"Отец смолчал, должно быть, оттого,
что все их нелады нас не касались.
Он их таил от всех".
"И, значит, от меня?
А справедливо ль было дать мне имя,
чтоб с ним я прожила всю жизнь,
не зная тайны?"
"У него была причина.
Есть что-то, что отец был должен утаить,
в точь так же, как и мать. К тому же
они ошибочно вдвоём вообразили,
что ни к чему ему о чём-то сожалеть,
когда он станет слишком старым.
Отцу не удаётся нас сдержать,
когда он видит, как мы что-то ищем.
Он, видимо, не знает, что малая деталь,
в любой момент откроет нам всю правду.
По поводу пути, что предложил тебе, -
он руководствовался чем-то личным.
Конечно, он не мог тебе сказать
хоть что-нибудь плохое о супруге".

"Когда бы поняла, что ты подозреваешь,
сдалась бы". - Но и знала б, так без пользы.
Их поиск был на время прекращён.
Они приглядывались только лишь друг к дружке -
по вдохновенью, и не зря.
Им вспомнилась не та пора, когда на клёны
навешивают вёдра и струится пар
от снега с соком, где выпаривают сахар.
Они соотносили Мейпл и клён,
горящий пламенем осеннего пожара,
в блестящей кожистой листве,
с корой, ещё не почерневшею от дыма.
Они в любую осень брали отпуска.
Однажды были возле клёна на поляне,
воздевшего над ними ветви вверх.
Собравши алые и розовые листья,

она сложила их у ног.
Но возраст помешал им любоваться.
На четверть века вспять её назвали Мейпл.
Там было не сыскать следа сидевшей пары.
Корова с пастбища его слизала б в миг.
Речь шла, должно быть, не об этом клёне.
Они, возможно, натолкнулись на ответ,
воображаемый, почти что символичный.
Но как не верить, что с какими-то людьми
в иное время нечто здесь могло случиться?
Их мысль могла касаться брачных уз,
но далеко не шла из уваженья к старшим.
И Мейпл укрыла под ладонями глаза.
Та истина пред ней открылась слишком поздно.
"Не бывши тут, мы не раскрыли бы секрет.
Отныне больше мы его не ищем".

Так имя помогло устроить брак
и управляло всей девичьей жизнью,
способствовало в том, чтоб строже воспитать,
хоть смысл его, казался ей неясным.
Но, видя малышей в родительских руках,
я имена бы назначал им без значенья,
с простым расчётом на счастливый шанс.
Давайте нарекать детей, подумав.

Maple

Her teacher's certainty it must be Mabel
Made Maple first take notice of her name.
She asked her father and he told her, "Maple —
Maple is right."
"But teacher told the school
There's no such name."
"Teachers don't know as much
As fathers about children, you tell teacher.
You tell her that it's M-A-P-L-E.
You ask her if she knows a maple tree.
Well, you were named after a maple tree.
Your mother named you. You and she just saw
Each other in passing in the room upstairs,
One coming this way into life, and one
Going the other out of life - you know?
So you can't have much recollection of her.
She had been having a long look at you.
She put her finger in your cheek so hard
It must have made your dimple there, and said,
'Maple.' I said it too: 'Yes, for her name.'
She nodded. So we're sure there's no mistake.
I don't know what she wanted it to mean,
But it seems like some word she left to bid you
Be a good girl - be like a maple tree.
How like a maple tree's for us to guess.
Or for a little girl to guess sometime.
Not now - at least I shouldn't try too hard now.
By and by I will tell you all I know
About the different trees, and something, too,
About your mother that perhaps may help."

Dangerous self-arousing words to sow.
Luckily all she wanted of her name then
Was to rebuke her teacher with it next day,
And give the teacher a scare as from her father.
Anything further had been wasted on her,
Or so he tried to think to avoid blame.
She would forget it. She all but forgot it.
What he sowed with her slept so long a sleep,
And came so near death in the dark of years,
That when it woke and came to life again
The flower was different from the parent seed.
It carne back vaguely at the glass one day,
As she stood saying her name over aloud,
Striking it gently across her lowered eyes
To make it go well with the way she looked.
What was it about her name? Its strangeness lay
In having too much meaning. Other names,
As Lesley, Carol, Irma, Marjorie,
Signified nothing. Rose could have a meaning,
But hadn't as it went. (She knew a Rose.)
This difference from other names it was
Made people notice it - and notice her.
(They either noticed it, or got it wrong.)
Her problem was to find out what it asked
In dress or manner of the girl who bore it.
If she could form some notion of her mother —
What she bad thought was lovely, and what good.
This was her mother's childhood home;
The house one story high in front, three stories
On the end it presented to the road.
(The arrangement made a pleasant sunny cellar.)
Her mother's bedroom was her father's still,
Where she could watch her mother's picture fading.
Once she found for a bookmark in the Bible
A maple leaf she thought must have been laid
In wait for her there. She read every word
Of the two pages it was pressed between,

As if it was her mother speaking to her.
But forgot to put the leaf back in closing
And lost the place never to read again.
She was sure, though, there had been nothing in it.

So she looked for herself, as everyone
Looks for himself, more or less outwardly.
And her self-seeking, fitful though it was,
May still have been what led her on to read,
And think a little, and get some city schooling.
She learned shorthand, whatever shorthand may
Have had to do with it--she sometimes wondered.
So, till she found herself in a strange place
For the name Maple to have brought her to,
Taking dictation on a paper pad
And, in the pauses when she raised her eyes,
Watching out of a nineteenth story window
An airship laboring with unshiplike motion
And a vague all-disturbing roar above the river
Beyond the highest city built with hands.
Someone was saying in such natural tones
She almost wrote the words down on her knee,
"Do you know you remind me of a tree -
A maple tree?"

"Because my name is Maple?"
"Isn't it Mabel? I thought it was Mabel."

"No doubt you've heard the office call me Mabel.
I have to let them call me what they like."

They were both stirred that he should have divined
Without the name her personal mystery.
It made it seem as if there must be something
She must have missed herself. So they were married,
And took the fancy home with them to live by.

They went on pilgrimage once to her father's
(The house one story high in front, three stories
On the side it presented to the road)
To see if there was not some special tree
She might have overlooked. They could find none,
Not so much as a single tree for shade,
Let alone grove of trees for sugar orchard.
She told him of the bookmark maple leaf
In the big Bible, and all she remembered
Of the place marked with it - "Wave offering*,
Something about wave offering*, it said."

"You've never asked your father outright, have you?"

"I have, and been Put off sometime, I think."
(This was her faded memory of the way
Once long ago her father had put himself off.)
"Because no telling but it may have been
Something between your father and your mother
Not meant for us at all."
"Not meant for me?
Where would the fairness be in giving me
A name to carry for life and never know
The secret of?"
"And then it may have been
Something a father couldn't tell a daughter
As well as could a mother. And again
It may have been their one lapse into fancy
'Twould be too bad to make him sorry for
By bringing it up to him when be was too old.
Your father feels us round him with our questing,
And holds us off unnecessarily,
As if he didn't know what little thing
Might lead us on to a discovery.
It was as personal as be could be
About the way he saw it was with you
To say your mother, bad she lived, would be
As far again as from being born to bearing."

"Just one look more with what you say in mind,
And I give up"; which last look came to nothing.
But though they now gave up the search forever,
They clung to what one had seen in the other
By inspiration. It proved there was something.
They kept their thoughts away from when the maples
Stood uniform in buckets, and the steam
Of sap and snow rolled off the sugarhouse.
When they made her related to the maples,
It was the tree the autumn fire ran through
And swept of leathern leaves, but left the bark
Unscorched, unblackened, even, by any smoke.
They always took their holidays in autumn.
Once they came on a maple in a glade,
Standing alone with smooth arms lifted up,
And every leaf of foliage she'd worn
Laid scarlet and pale pink about her feet.
But its age kept them from considering this one.
Twenty-five years ago at Maple's naming
It hardly could have been a two-leaved seedling
The next cow might have licked up out at pasture.
Could it have been another maple like it?
They hovered for a moment near discovery,
Figurative enough to see the symbol,
But lacking faith in anything to mean
The same at different times to different people.
Perhaps a filial diffidence partly kept them
From thinking it could be a thing so bridal.
And anyway it came too late for Maple.
She used her hands to cover up her eyes.

"We would not see the secret if we could now:
We are not looking for it any more."

Thus had a name with meaning, given in death,
Made a girl's marriage, and ruled in her life.
No matter that the meaning was not clear.

A name with meaning could bring up a child,
Taking the child out of the parents' hands.
Better a meaningless name, I should say,
As leaving more to nature and happy chance.
Name children some names and see what you do.

1923 "New Hampshire".

Примечание.

Переводов малой поэмы "Maple" на русский язык в интернете не обнаружено.

*Словосочетание "wave offering" встречается в «Ветхом Завете» около тридцати раз и в разном сакральном значении. Как правило это различные жреческие подношения Богу. Для случая, описанного Р.Фростом, как считают комментаторы, подходит текст из Книги Чисел 5.25. "Войдёт в неё вода, наводящая проклятие, ко вреду её. И возьмёт священник из рук жены хлебное ПРИНОШЕНИЕ РЕВНОВАНИЯ и вознесёт сие ПРИНОШЕНИЕ". Речь идёт о разбирательстве, в случае, если женщина обвинена в супружеской измене.

В доме на финишной черте

Она стояла в кухне перед грязным сливом,
смотря поверх, сквозь запылённое окно,
на рослую траву, вспоённую тем стоком.
Надела плащ, в руке держала шляпу.
За нею в комнате был полный кавардак.
На стулья сели стулья вниз сиденьем,
как люди-седоки. Любой домашний скарб -
в её гостиной, в спальне и в столовой,
теснился вперемешку, как на кухне.
В двери, из-за спины хозяйки, возникало
кругом намазанное адское лицо.
Тогда хозяйка отвечала на вопросы,
не повернув к прислуге даже головы.

"Как быть с ореховой конторкой, леди?"
"Поставь её на верх чего-нибудь, что сверху".
Смеясь, добавила: "Поставь, где сможешь.
Уж вечер, отдыхай. Почти стемнело.
Пора тебе быстрей собраться в город".

Другое смуглое лицо явилось,
взглянуло и сказало мягко, со смешком:
"Что вы такое видите в окошке, леди?"

"До сей поры я леди не была.
Заладили, заледили...
Быть может, раз меня назвали леди
так много раз, и впрямь я стала леди,
вполне по праву. Удивляюсь".
"Но я спросил,
что вы такое видите в окошке, леди?"

"Смотрю, что нового увижу через годы,
здесь стоя и ходя по многу раз вокруг
бесчисленных тарелок и салфеток".

"Но всё же что? Вы не хотите мне сказать".

"Там сорняки, что любят воду из лохани
сильнее, Джо, чем женщины саму лохань;
немного выкосить - вот для тебя и дело;
совсем немножечко, пока не вырос лес.
Скоси тот угол, чтоб вид стал лучше".

"И что ж, здесь станет вам по нраву, дорогая?"

"Ты хочешь знать? Надеешься на то,
что я здесь рада. - А стук, что всюду слышен,
идущий с верхотуры. Та топотня парней,
такая, что ломается каркас
всего домишки. Как будем здесь одни,
мой милый, ты да я, по лестницам вверх-вниз
ступать полегче станем, как и по комнатам.
И лишь внезапный ветер начнёт стучать дверьми,
выхватывая их из наших рук".
"Я думаю,
вы видите побольше, чем видно из окна".

"Нет. Просто говорю не о предметах -
о том, что будет через годы. Года идут,
изменятся трава, луга и лес".
"Какие ж годы?"
"Все те, что впереди -
отличные от прежних".
"И я их вижу.
А вы их подсчитали?"
"Нет, в дальнейшем
они пойдут все скопом, мне не счесть.
Возможно даже, будет их немного.

Мы б знать хотели, ведь не молоды теперь.
Но гром гремит покамест далеко...
Бывает люди терпят крах при неудачах,
как загрохочут - кто-то не вернётся
под свет на городских проспектах; мы-то знаем;
потом сдаются сельской темноте".

"Вы застоялись у окошка, отойдите,
и глянем вместе на живой пейзаж над нами.
Смотрите на тягучее роенье
над колесом вверху в небесном кресле.
И кто-то курит трубку, двинув книзу нос,
а пламя хлещет, как он дунет".

"Действительно, как раздувает ноздри,
и тьма кругом. Но не луна ли там?
Который час? Да! Новая луна!
Что за плечо над нею сверху? И нет плеча...
Блестят серебряные провода.
Но свет её не будет длиться долго,
хотя я знаю, неизвестно как, что станет,
за ночью ночь, светить для нас всё ярче,
чтоб видеть нас в две первые недели.
Но, Джо, - плита! Пред тем, как те придут...
Вот стукнут и попросят поставить к их ногам.
А мы мечтаем. Спешно! Зови их всех назад!"

"Они же не ушли ещё".
"Плита необходима.
И прочее, что нужно, что хотим. И свет.
Найдётся ли свечной огарок, если лампу
и масла здесь никак не разыскать?"
Тут снова
в наставшей тьме весь дом наполнил топот.
Ввалились в двери люди, чтоб взяться за плиту.
Проделали дыру в стене, как жерло пушки,
хоть целься сквозь неё глазами.

Настал черёд и составного дымохода.
Он был из лёгких прочных ёмких труб,
как бы взлетевший на воздушном шаре
из неуклюжих рук, прицелясь к потолку.
"Сойдёт!" - вскричал один, ударив по железу.
"Удача, если кто-нибудь, переезжая,
начнёт устройство дома с дымохода.
В деревне жить не так уж плохо.
Понравится. Здесь можно преуспеть".
А Джо сказал: "Вы все большие парни.
Берите ферму. Изучите дело.
А в городе работы всем не хватит.
В деревне всё иначе".

"О Господи!" - сказал один довольно резко.
Скажите это Джимми. Он-то взял бы ферму.
Но Джимми, сжавши зубы, прикусил язык,
с дурацким видом завращал глазами,
как будто тот французский парень хотел сказать,
с серьёзностью, что повлекла бы общий смех:
"Нет, друг мой, ты не понял, что ты мне предложил!"
Он снял фуражку и поднял двумя руками
над грудью, сделав шутовской поклон:
"Мы дарим вам наш шанс владеть такою фермой".
Все повернулись, застучали сапогами
и выбрались долой, таща с собой друг друга.

"Что ж, с Богом! Мы запутали ребят. Я знаю,
что они могли подумать, решив от нас уйти.
Склон пастбища похож на согнутую спину.
Вся ферма им напоминает нас. В лесах,
что к северу от вашего окна за стоком,
теряется любой наш шаг, куда б ни шли,
куда бы и на что б ни посмотрели,
как у детей в игре ten-step".

"Ребята ладные, но, видно, любят город.
Когда ты предложил им фермерами стать, -
"О Господи!" - ответить мог любой".

"Они тоскливым делом не займутся.
Они бы тут ввели вас только в хворь -
в итоге всякой нашей сделки. Ушли,
оставив нас своей судьбе. А их словами
я просто потрясён".
"Но это всё, как раз,
чего мы так всегда желали. Признаюсь,
сейчас нам кажется, что дело плохо,
а дальше - хуже, но утром, утром, утром -
нормализуется. Нас бросили впотьмах.
Всегда страдала, если люди уходили.
В ту ночь, когда уходят гости, то мне снится -
дом полон привидений и распахнут.
Так я стараюсь тотчас запереться.
Но вскоре все те странности проходят".

Джо отыскал замызганный фонарь за дверью.
"Нет. Мы его не потеряли. И кстати...".
Он распечатал также спички. "Пища есть, -
ведь то, что было, забрать никто не мог.
Хотел бы, чтобы всё всегда и всюду
хранилось так надёжно, как у нас,
да были всюду блюда и помимо наших.
Итак, давайте, приложите ваши руки".

"Хлеб мы купили по дороге в лавке.
И масло есть здесь про запас".
"Преломим хлеб.
Я свет зажгу для вас и для себя.
Другой компании у вас не будет,
пока не выберется Эд на воскресенье
взглянуть на нас и высказать идеи
по поводу обрезки, кровли и поломок.
Он скажет нам, что делал бы на нашем месте.
Всё сразу. Всё по плану Всё распишет
для нас и сам себе: как нам помочь,
но это выкинет потом из плана...

Отлично, можно накрывать наш стол с ковригой.
Взгляну, как нравится вам хлеб. Зажгу огонь
и полюбуюсь стульями на стульях,
не уступающими леди".
"Ты снова, Джо!
Небось, устал?".
"Бесчувственно-хмельно устал.
Мелю без смысла. Ведь был рабочий день.
Освобождал ваш дом от всякого добра,
и все пятнадцать миль возил сюда другое,
а вы лишь только всё спускали вниз".

"Валя всё вниз, мы счастливы и как в раю".

"Вот этого и я всегда желал.
Не мог поверить, что и вы того хотели".

"Так не хотел и знать?"

"Нет, знать-то я хотел,
но, если вы желали, то как при этом
учитывался я".

"Встревоженная совесть!
Не хочешь мне сказать: 'вот, если б я не знал'".

"Я не допытывался до запретных мыслей.
Кто должен был открыться первым?"

"Мой дорогой,
тот первый, кто задумал. Ты ищешь, Джо,
несуществующий предмет - начало.
Концы с началами - их нет в природе.
Есть серединки".

"И что же это? Эта жизнь?
Сиденье наше здесь при свете фонаря

среди развалин старенького дома?
Не отрицайте, что фонарь не новый.
И нет плиты. И вы - не для меня.
Ни я - для вас"

"Быть может, не был прежде?"

"Я это декламировал бы вечно.
Ничто не ново там, где мы живём.
Есть дурни в городах, что полагают,
что можно где-то преуспеть,
меняя стиль одежды.
Я слушал вас, вы многое сказали.
Нет, это не начало"
"Тогда конец?"

"Конец - отчаянное слово".
"Жаль, очень поздно
тащить тебя внимать ночным звучаньям
к бугру, где персиковый сад, и там на ощупь
под звёздами искать в траве последний персик,
не взятый, может быть, соседями, ведь в доме
никто не жил. Я посмотрела, только вряд ли
они оставили нам много фруктов.
Когда мы только утвердимся в доме,
то первым делом, утром, обойдём по кругу
и яблони, и персики, и вишни,
сосняк, ольшаник, пастбище, покос,
пойдём к колодцу и ручью,
посмотрим ферму".

"Здесь всего немало.
Но я пойду - поставлю вам кровать сначала.
Я должен вам её соорудить. Пойдёмте, свет мой".

Когда из кухни унесли фонарь,
то выглянул огонь из щёлок в печке
и заплясал свой жёлтый твист на потолке,
как прежде в доме, как плясал всегда.

In the Home Stretch

She stood against the kitchen sink, and looked
Over the sink out through a dusty window
At weeds the water from the sink ma,de tall.
She wore her cape; her hat was in her hand.
Behind her was confusion in the room,
Of chairs turned upside down to sit like people
In other chairs, and something, come to look,
For every room a house has—parlor, bed-"room,
And dining-room - thrown pell-mell in the kitchen.
And now and then a smudged, infernal face
Looked in a door behind her and addressed
Her back. She always answered without turning.

“Where will I put this walnut bureau, lady?”
“Put it on top of something that’s on top
Of something else,” she laughed. “Oh, put it where
You can to-night, and go. It’s almost dark;
You must be getting started back to town.”
Another blackened face thrust in and looked
And smiled, and when she did not turn, spoke gently,
“What are you seeing out the window, lady?”

“Never was I beladied so before.
Would evidence of having been called lady
More than so many times make me a lady
In common law, I wonder.”

“But I ask,
What are you seeing out the window, lady?”

“What I’ll be seeing more of in the years

To come as here I stand and go the round
Of many plates with towels many times."

"And what is that? You only put me off."

"Rank weeds that love the water from the dish-pan
More than some women like the dish-pan, Joe;
A little stretch of mowing-field for you;
Not much of that until I come to woods
That end all. And it's scarce enough to call
A view."

"And yet you think you like it, dear?"

"That's what you're so concerned to know! You hope
I like it. Bang goes something big away
Off there upstairs. The very tread of men
As great as those is shattering to the frame
Of such a little house. Once left alone,
You and I, dear, will go with softer steps
Up and down stairs and through the rooms, and none
But sudden winds that snatch them from our hands
Will ever slam the doors."

"I think you see
More than you like to own to out that window."

"No; for besides the things I tell you of,
I only see the years. They come and go
In alternation with the weeds, the field,
The wood."

"What kind of years?"
"Why, latter years—
Different from early years."
"I see them, too.
You didn't count them?"

"No, the further off
So ran together that I didn't try to.
It can scarce be that they would be in number
We'd care to know, for we are not young now.
And bang goes something else away off there.
It sounds as if it were the men went down,
And every crash meant one less to return
To lighted city streets we, too, have known,
But now are giving up for country darkness."

"Come from that window where you see too much for me,
And take a livelier view of things from here.
They're going. Watch this husky swarming up
Over the wheel into the sky-high seat,
Lighting his pipe now, squinting down his nose
At the flame burning downward as he sucks it."

"See how it makes his nose-side bright, a proof
How dark it's getting. Can you tell what time
It is by that? Or by the moon? The new moon!
What shoulder did I see her over? Neither.
A wire she is of silver, as new as we
To everything. Her light won't last us long.
It's something, though, to know we're going to have her
Night after night and stronger every night
To see us through our first two weeks. But, Joe,
The stove! Before they go! Knock on the window;
Ask them to help you get it on its feet.
We stand here dreaming. Hurry! Call them back!"

"They're not gone yet."

"We've got to have the stove,
Whatever else we want for. And a light.
Have we a piece of candle if the lamp
And oil are buried out of reach?"
Again

The house was full of tramping, and the dark,
Door-filling men burst in and seized the stove.
A cannon-mouth-like hole was in the wall,
To which they set it true by eye; and then
Came up the jointed stovepipe in their hands,
So much too light and airy for their strength
It almost seemed to come ballooning up,
Slipping from clumsy clutches toward the ceiling.
"A fit!" said one, and banged a stovepipe shoulder.
"It's good luck when you move in to begin
With good luck with your stovepipe. Never mind,
It's not so bad in the country, settled down,
When people 're getting on in life, You'll like it."
Joe said: "You big boys ought to find a farm,
And make good farmers, and leave other fellows
The city work to do. There's not enough
For everybody as it is in there."
"God!" one said wildly, and, when no one spoke:
"Say that to Jimmy here. He needs a farm."
But Jimmy only made his jaw recede
Fool-like, and rolled his eyes as if to say
He saw himself a farmer. Then there was a French boy
Who said with seriousness that made them laugh,
"Ma friend, you ain't know what it is you're ask."
He doffed his cap and held it with both hands
Across his chest to make as 'twere a bow:
"We're giving you our chances on de farm."
And then they all turned to with deafening boots
And put each other bodily out of the house.
"Goodby to them! We puzzle them. They think—
I don't know what they think we see in what
They leave us to: that pasture slope that seems
The back some farm presents us; and your woods
To northward from your window at the sink,
Waiting to steal a step on us whenever
We drop our eyes or turn to other things,
As in the game 'Ten-step' the children play."

"Good boys they seemed, and let them love the city.
All they could say was 'God!' when you proposed
Their coming out and making useful farmers."

"Did they make something lonesome go through you?
It would take more than them to sicken you -
Us of our bargain. But they left us so
As to our fate, like fools past reasoning with.
They almost shook me."

"It's all so much
What we have always wanted, I confess
It's seeming bad for a moment makes it seem
Even worse still, and so on down, down, down.
It's nothing; it's their leaving us at dusk.
I never bore it well when people went.
The first night after guests have gone, the house
Seems haunted or exposed. I always take
A personal interest in the locking up
At bedtime; but the strangeness soon wears off."
He fetched a dingy lantern from behind
A door. "There's that we didn't lose! And these!"-
Some matches he unpocketed. "For food -
The meals we've had no one can take from us.
I wish that everything on earth were just
As certain as the meals we've had. I wish
The meals we haven't had were, anyway.
What have you you know where to lay your hands on?"

"The bread we bought in passing at the store.
There's butter somewhere, too."

"Let's rend the bread.
I'll light the fire for company for you;
You'll not have any other company
Till Ed begins to get out on a Sunday
To look us over and give us his idea

Of what wants pruning, shingling, breaking up.
He'll know what he would do if he were we,
And all at once. He'll plan for us and plan
To help us, but he'll take it out in planning.
Well, you can set the table with the loaf.
Let's see you find your loaf. I'll light the fire.
I like chairs occupying other chairs
Not offering a lady - "

"There again, Joe!
You're tired."

"I'm drunk-nonsensical tired out;
Don't mind a word I say. It's a day's work
To empty one house of all household goods
And fill another with 'em fifteen miles away,
Although you do no more than dump them down."

"Dumped down in paradise we are and happy."

"It's all so much what I have always wanted,
I can't believe it's what you wanted, too."

"Shouldn't you like to know?"

"I'd like to know
If it is what you wanted, then how much
You wanted it for me."

"A troubled conscience!
You don't want me to tell if I don't know."

"I don't want to find out what can't be known.

But who first said the word to come?"

"My dear,

It's who first thought the thought. You're searching, Joe,
For things that don't exist; I mean beginnings.
Ends and beginnings - there are no such things.
There are only middles."

"What is this?"
"This life?
Our sitting here by lantern-light together
Amid the wreckage of a former home?
You won't deny the lantern isn't new.
The stove is not, and you are not to me,
Nor I to you."

"Perhaps you never were?"

"It would take me forever to recite
All that's not new in where we find ourselves.
New is a word for fools in towns who think
Style upon style in dress and thought at last
Must get somewhere. I've heard you say as much.
No, this is no beginning."

"Then an end?"

"End is a gloomy word."
"Is it too late
To drag you out for just a good-night call
On the old peach trees on the knoll to grope
By starlight in the grass for a last peach
The neighbors may not have taken as their right
When the house wasn't lived in? I've been looking:
I doubt if they have left us many grapes.
Before we set ourselves to right the house,
The first thing in the morning, out we go
To go the round of apple, cherry, peach,
Pine, alder, pasture, mowing, well, and brook.
All of a farm it is."

“I know this much:
I’m going to put you in your bed, if first
I have to make you build it. Come, the light.”

When there was no more lantern in the kitchen,
The fire got out through crannies in the stove
And danced in yellow wrigglers on the ceiling,
As much at home as if they’d always danced there.

1916 "Mountain Interval"

Примечание.
В интернете русских переводов этого произведения Р.Фроста не найдено.

Поколения людей

Когда в Нью-Гемпшире был назван день,
чтоб сообща отметить память предков,
так обещался быть там даже губернатор.
Все Старки созывались в город Боу. -
Там было много скал, а фермерство - в упадке;
на вырубках цвела лишь дикая трава.
Народ сходился у подвальной ямы;
садились все буквально на земле,
вблизи дороги. У истока рода.
Оттуда вышло многочисленное племя,
и кое-кто ещё сберёг свои домишки.
Не жили в них, а всё же подновляли,
держа, взамен палаток, в рощах и садах.
Для них собраться в Боу было мало.
Хотелось как-нибудь отметить этот день.
Они стояли возле кратера вулкана,
что выплеснул их в мир. Хотели испытать
всё прошлое со всем для них неясным.

Но дело портил дождь. С утра была неясность.
Спустились облака, порой чуть крапал дождь.
Юнцы старались подбодрить друг друга.
К полудню стало лучше. Шторм улёгся,
теперь свистел в траве. "Эх, всем бы нам сюда
собраться! - говорили. - Дождя не будет".
Парнишка с фермы, что была неподалёку,
пошёл, гуляючи, совсем не ожидая
кого-то повстречать, но был ничем не занят.
Вот встретил бы кого - была бы пара.
Вдруг, на втором кругу пути с холма
увидел девушку, - она посторонилась,
чтоб разгадать, - напрячь свой ум и память,
попристальней взглянуть, кто ж он такой,
возможно, услыхать, что скажет о погоде.
Он был неведомый ей Старк. И вот кивнул.
Сказал: "Не праздничный денёк, как видно".
Она взглянула в небеса и повернулась:
"А я с утра не на работе".
"Я - тоже".
Случайность вышла будто специально -
для встречи двух плодов на родословном древе,
что вытащены из ветвистой схемы,
где всё представлено наглядно и подробно,
как в рьяно сделанном дотошном документе.
Она внезапно тронула свой лиф,
как будто сжала сердце. Оба рассмеялись.

Он молвил: "Ты из Старков. Видно сразу".
"Да, Старк. А ты?"
"Я - Старк". Он протянул свой паспорт.

"Ты знаешь, мы - родня, а, может быть, и нет:
наш город полон Чейзов, Лоусов и Бейли.
И все не больно как гостеприимны.
Вот мать моя - из Лейнов. Замуж вышла б
хоть за кого, а дети стать могли б
хоть Старками, и были б, точно, нынче здесь".

"Ты ошарашишь родословной,
как та Виола*. Я на это не способен".

"Суть в том, что мать носила имя Старк
не раз, а выйдя замуж за отца
она вернула нам опять то имя".

"Давай не будем усложнять и путать
при объяснении взаимоотношений.
Пытаюсь вникнуть - закружилась голова.
Вручаю карту - вижу: в них ты дока,
и разберись, что между нами за родство.
Но не пора ль нам сесть на стенку у подвала
да поболтать ногами посреди малины".

"Под сенью нашей родословной?"

"Вот именно, она - хорошая защита".

"Увы! Не от дождя. Смекаю - быть дождю".

"Дождит".
"Точней сказать, покуда лишь туман.
Не студит ли глаза? Так кажется, что дождь?"

А дело обстояло так: дорога
бежала полпути на гору вверх,
там исчезала, и финиш был невдалеке.
Никто не возвращался. И один лишь домик
вблизи дороги был как лопнувший стручок.
Внизу шумел ручей, укрывшийся в деревьях,
Здесь этот звук казался тишиной.
Они присели там поговорить.

"Со стороны отца, мы оба... Я смотрю...".

"Не будь лишь формалисткой. Есть три справки".

"Четыре: вот твоя, вот три моих (о каждой
из веток моего семейства Старков)".

"Не знаешь ли кого-то из родни,
кто б слыл безумным?"
"Верно только я"

"Ты выглядишь такой, усевшись под дождём
и занимаясь здесь со мною родословной,
которой прежде не знавала вовсе.
Как возгордилась тем, что мы из янки?
Никак мы все безумны. Почему мы все,
здесь в городе с утра вблизи подвальной ямы,
как гуси, что сидят, нахохлясь, перед штормом?
Дивлюсь, что можем мы увидеть в этой яме".

"Я вспомнила индейский миф про Чикамозток,
что означает Семь-Пещер-Откуда-Все-Мы-Вышли.
Здесь тот карьер, откуда выкопали Старков".

"Ты - дока! Значит, вот, что ты там разглядела?"

"А ты что видишь?"
"Да, а что ж там вижу я?
Дай посмотреть. Вокруг малиновые стебли..."

"Пока глядишь, трудя свои глаза, послушай,
что вижу я. Там маленький мальчишка,
столь бледненький, как пламя спички перед солнцем.
И он наощупь выбирается, застряв,
Он думает здесь тьма, а здесь потоки света".

"Нет, то - пустяк. Послушай. Я вгляжусь -
могу отчётливо увидеть Предка Старков.
Он с трубкою во рту, с коричневым кувшином.
Господь, прости! Не Предок Старков - там Бабуля.
Но курит. Точно, с трубкой и с кувшином.

Уж сидром напилась - старушке мало.
Опять дорвётся до питья - и на здоровье".

"Скажи о ней. Похожа ль на меня?"

"Она должна. Должна ли, впрочем? - Между вами
прошло немало поколений. Но всё же верю,
что вы похожи. Стой так, как ты стоишь.
Такой же точно нос. Такой же подбородок -
с едва заметной должною поправкой".

"Ах, ты, бедняга! Ах, великая бабуля!"

"Её величие ты верно оценила".

"Как не ценить! За сходство не задразнят.
Но только посмотри, как я промокла".

"Тебе пора уйти. Нельзя здесь оставаться.
Но подожди, когда тебе подам я руку.
Чуть больше бусинок серебряной воды
в причёске - внешность станет только краше.
Я захотел воспользоваться шумом,
что издаёт ручей в пустой долине.
Вслед за виденьями - услышим голоса.
Я кое-что узнал, катаясь в поездах,
ещё юнцом. Я вслушивался в шум и рёв,
пытаясь различить в них голоса,
и разговор, и пение, и звук оркестров.
Возможно, и в тебе живёт такой талант.
Но я ещё не вслушивался в звуки,
что в диком спуске издаёт ручей.
Вот где отыщется естественный оракул".

"Но это выйдет как рисунок на экране:
весь смысл его исходит от тебя,
а в голосах поймёшь, что хочешь слышать".

"Нет, хоть и странно, что они хотят".

"Тогда не знаю, но и вправду странно.
Решу, что-то - твоя инсценировка.
Как думаешь, что б ты хотел услышать нынче?".

"Учтём хотя бы то, что мы сегодня вместе -
не будем брать в расчёт, что я хотел бы слышать.
Озвучу то, что скажут сами голоса.
Но правильно, что ты немного медлишь.
Я не хотел бы, чтобы время поджимало.
Иначе не смогу расслышать голосов".

"Ты должен, видимо, войти в какой-то транс?"

"Ты будь спокойна и не говори".

"Едва дышу".
"Заговорили голоса..."

"Я жду".
"Молчок! Мне голоса сказали:
По поводу неиспугавшейся знакомой -
зови её неустрашимой Навзикаей**.

"Да, я подумала и разрешаю".

"Не знаю точно, как могла бы ты помочь.
Ты хочешь правды. Голосам известно,
что я не знаю даже, как тебя зовут,
хоть в имени суть наших отношений...".

"Есть подозренье...".
"Голоса сказали:
Ты с Навзикаей должен взять лесину,
горелую, что там лежит в подвале,
среди малины. Обруби. Придай ей форму
порожка у двери, не то другой детали
для нового коттеджа в старом месте,

чтоб жизнь ещё не вся ушла оттуда.
Устрой жильё на лето, приезжай.
Быть может, и она придёт, неустрашимо,
присядет у открытой двери пред тобой,
с цветами на коленях - пусть не вянут -
заветный же порог не переступит...".

"Мне удивительно, куда оракул клонит.
Ты видишь сам, здесь что-то с ним не так.
Какой-то местный диалект. Чей голос
мог это высказать? Не Предок Старков,
и не Бабуля. Будь то один из них,
они имели б право, чтоб им внимали".

"А ты неравнодушна к своей прабабке.
(Сменилось девять поколений. Не так ли?).
Ты расценила бы, должно быть, как святыню,
что б нам она ни объявила. Позволь сказать:
в её-то времена народ бывал доверчив.
Так, мыслишь, что сама б ты не клюнула на ложь?"

"Всегда от нас зависит, что нам слушать".

"Отлично. А Бабуля говорит: "Не знаю!
Быть может, я и не права во всём,
раз вовсе нет идей во всём подобных старым,
так никогда вполне, как я хочу, не будет.
Не нужно жёстко относиться к новизне.
Иное новое несёт нам облегченье.
Я буду чувствовать себя удобней, увидав
побольше смысла там, где нужен смысл.
Потомок! Выполняй совет: бери лесину -
она прочна, как в день, когда спилили, -
и начинай. Она должна там стать.
Ты видишь, чем обеспокоена Бабуля.
Не думаешь ли ты, что слишком много
берём из старого запаса? Разумней те,
что про него не забывают".

"Смотрю: мы можем стать хорошими друзьями".

"Приятное мне "можем стать!". Но ты сказала,
что будет дождь".
"Так он и был.
Я всё услышала. Теперь должна уйти".

"Позволила сказать. Обдумала ль всё это?
Так как же можем мы теперь проститься?"

"Что ж делать?"
"Не забыть ко мне дорогу".

"Нет, что-то я твоим глазам не доверяю.
Дай руку на прощанье. - Сорви мне тот цветок".

"Где ж встретимся опять?"
"Нигде. Лишь здесь -
хоть раз до встречи в новом месте".
"Под дождиком?"

"Должно быть, будет дождь. Ещё раз - под дождём.
И, если будет дождь, то завтра под дождём.
Дождя не будет - так под солнцем". Она ушла.

The Generations of Men

A governor it was proclaimed this time,
When all who would come seeking in New Hampshire
Ancestral memories might come together.
And those of the name Stark gathered in Bow,
A rock-strewn town where farming has fallen off,
And sprout-lands flourish where the axe has gone.
Someone had literally run to earth
In an old cellar hole in a by-road
The origin of all the family there.
Thence they were sprung, so numerous a tribe
That now not all the houses left in town
Made shift to shelter them without the help
Of here and there a tent in grove and orchard.
They were at Bow, but that was not enough:
Nothing would do but they must fix a day
To stand together on the crater's verge
That turned them on the world, and try to fathom
The past and get some strangeness out of it.
But rain spoiled all. The day began uncertain,
With clouds low trailing and moments of rain that misted.
The young folk held some hope out to each other
Till well toward noon when the storm settled down
With a swish in the grass. "What if the others
Are there," they said. "It isn't going to rain."
Only one from a farm not far away
Strolled thither, not expecting he would find
Anyone else, but out of idleness.
One, and one other, yes, for there were two.
The second round the curving hillside road
Was a girl; and she halted some way off

To reconnoitre, and then made up her mind
At least to pass by and see who he was,
And perhaps hear some word about the weather.
This was some Stark she didn't know. He nodded.
"No fete to-day," he said.
"It looks that way."
She swept the heavens, turning on her heel.
"I only idled down."
"I idled down."
Provision there had been for just such meeting
Of stranger cousins, in a family tree
Drawn on a sort of passport with the branch
Of the one bearing it done in detail -
Some zealous one's laborious device.
She made a sudden movement toward her bodice,
As one who clasps her heart. They laughed together.
"Stark?" he inquired. "No matter for the proof."
"Yes, Stark. And you?"
"I'm Stark." He drew his passport.
"You know we might not be and still be cousins:
The town is full of Chases, Lowes, and Baileys,
All claiming some priority in Starkness.
My mother was a Lane, yet might have married
Anyone upon earth and still her children
Would have been Starks, and doubtless here to-day."
"You riddle with your genealogy
Like a Viola. I don't follow you."
"I only mean my mother was a Stark
Several times over, and by marrying father
No more than brought us back into the name."
"One ought not to be thrown into confusion
By a plain statement of relationship,
But I own what you say makes my head spin.
You take my card - you seem so good at such things -
And see if you can reckon our cousinship.
Why not take seats here on the cellar wall
And dangle feet among the raspberry vines?"

"Under the shelter of the family tree."
"Just so--that ought to be enough protection."
"Not from the rain. I think it's going to rain."
"It's raining."
"No, it's misting; let's be fair.
Does the rain seem to you to cool the eyes?"
The situation was like this: the road
Bowed outward on the mountain half-way up,
And disappeared and ended not far off.
No one went home that way. The only house
Beyond where they were was a shattered seedpod.
And below roared a brook hidden in trees,
The sound of which was silence for the place.
This he sat listening to till she gave judgment.
"On father's side, it seems, we're - let me see...."
"Don't be too technical. - You have three cards."
"Four cards, one yours, three mine, one for each branch
Of the Stark family I'm a member of."
"D'you know a person so related to herself
Is supposed to be mad."
"I may be mad."
"You look so, sitting out here in the rain
Studying genealogy with me
You never saw before. What will we come to
With all this pride of ancestry, we Yankees?
I think we're all mad. Tell me why we're here
Drawn into town about this cellar hole
Like wild geese on a lake before a storm?
What do we see in such a hole, I wonder."
"The Indians had a myth of Chicamoztoc,
Which means The Seven Caves that We Came out of.
This is the pit from which we Starks were digged."
"You must be learned. That's what you see in it?"
"And what do you see?"
"Yes, what do I see?
First let me look. I see raspberry vines...."
"Oh, if you're going to use your eyes, just hear

What I see. It's a little, little boy,
As pale and dim as a match flame in the sun;
He's groping in the cellar after jam,
He thinks it's dark and it's flooded with daylight."
"He's nothing. Listen. When I lean like this
I can make out old Grandsir Stark distinctly, -
With his pipe in his mouth and his brown jug -
Bless you, it isn't Grandsir Stark, it's Granny,
But the pipe's there and smoking and the jug.
She's after cider, the old girl, she's thirsty;
Here's hoping she gets her drink and gets out safely."
"Tell me about her. Does she look like me?"
"She should, shouldn't she, you're so many times
Over descended from her. I believe
She does look like you. Stay the way you are.
The nose is just the same, and so's the chin -
Making allowance, making due allowance."
"You poor, dear, great, great, great, great Granny!"
"See that you get her greatness right. Don't stint her."
"Yes, it's important, though you think it isn't.
I won't be teased. But see how wet I am."
"Yes, you must go; we can't stay here for ever.
But wait until I give you a hand up.
A bead of silver water more or less
Strung on your hair won't hurt your summer looks.
I wanted to try something with the noise
That the brook raises in the empty valley.
We have seen visions--now consult the voices.
Something I must have learned riding in trains
When I was young. I used the roar
To set the voices speaking out of it,
Speaking or singing, and the band-music playing.
Perhaps you have the art of what I mean.
I've never listened in among the sounds
That a brook makes in such a wild descent.
It ought to give a purer oracle."
"It's as you throw a picture on a screen:

The meaning of it all is out of you;
The voices give you what you wish to hear."
"Strangely, it's anything they wish to give."
"Then I don't know. It must be strange enough.
I wonder if it's not your make-believe.
What do you think you're like to hear to-day?"
"From the sense of our having been together -
But why take time for what I'm like to hear?
I'll tell you what the voices really say.
You will do very well right where you are
A little longer. I mustn't feel too hurried,
Or I can't give myself to hear the voices."
"Is this some trance you are withdrawing into?"
"You must be very still; you mustn't talk."
"I'll hardly breathe."
"The voices seem to say..."
"I'm waiting."
"Don't! The voices seem to say:
Call her Nausicaa, the unafraid
Of an acquaintance made adventurously."
"I let you say that - on consideration."
"I don't see very well how you can help it.
You want the truth. I speak but by the voices.
You see they know I haven't had your name,
Though what a name should matter between us..."
"I shall suspect..."
"Be good. The voices say:
Call her Nausicaa, and take a timber
That you shall find lies in the cellar charred
Among the raspberries, and hew and shape it
For a door-sill or other corner piece
In a new cottage on the ancient spot.
The life is not yet all gone out of it.
And come and make your summer dwelling here,
And perhaps she will come, still unafraid,
And sit before you in the open door
With flowers in her lap until they fade,

But not come in across the sacred sill..."
"I wonder where your oracle is tending.
You can see that there's something wrong with it,
Or it would speak in dialect. Whose voice
Does it purport to speak in? Not old Grandsir's
Nor Granny's, surely. Call up one of them.
They have best right to be heard in this place."
"You seem so partial to our great-grandmother
(Nine times removed. Correct me if I err.)
You will be likely to regard as sacred
Anything she may say. But let me warn you,
Folks in her day were given to plain speaking.
You think you'd best tempt her at such a time?"
"It rests with us always to cut her off."
"Well then, it's Granny speaking: 'I dunnow!
Mebbe I'm wrong to take it as I do.
There ain't no names quite like the old ones though,
Nor never will be to my way of thinking.
One mustn't bear too hard on the new comers,
But there's a dite too many of them for comfort.
I should feel easier if I could see
More of the salt wherewith they're to be salted.
Son, you do as you're told! You take the timber -
It's as sound as the day when it was cut -
And begin over...' There, she'd better stop.
You can see what is troubling Granny, though.
But don't you think we sometimes make too much
Of the old stock? What counts is the ideals,
And those will bear some keeping still about."
"I can see we are going to be good friends."
"I like your 'going to be.' You said just now
It's going to rain."
"I know, and it was raining.
I let you say all that. But I must go now."
"You let me say it? on consideration?
How shall we say good-bye in such a case?"
"How shall we?"

"Will you leave the way to me?"
"No, I don't trust your eyes. You've said enough.
Now give me your hand up.--Pick me that flower."
"Where shall we meet again?"
"Nowhere but here
Once more before we meet elsewhere."
"In rain?"
"It ought to be in rain. Sometime in rain.
In rain to-morrow, shall we, if it rains?
But if we must, in sunshine." So she went.

1914 "North of Boston"

Примечания.

В интернете на сайте Stihi.Ru опубликован автоматический машинный перевод этого произведения на русский язык.

***Виола** - сестра-близнец Себастьяно, она же Цезарио, героиня пьесы У.Шекспира "Двенадцатая ночь, или Что вам угодно?".

****Навзикая** - персонаж из гомеровской «Одиссеи», дочь царя феаков Алкиноя. Отыскав на берегу спасшегося после кораблекрушения Одиссея, покрытого грязью и тиной, не устрашилась, а приказала дать ему одежду, накормить, напоить и помогла советом. По одному из вариантов мифа впоследствии стала женой сына Одиссея - Телемака.

Ключница

Рискнул войти сквозь кухонную дверь.
Она сказала: "Не встаю. Прости меня,
что не сумела выйти на звонок.
Я не встречаю и не провожаю.
Стара я стала для своих объёмов.
Использую теперь лишь только пальцы,
и в них всё утешенье. Способна шить,
умею вещь стеклярусом украсить".

"Вот пара бисером расшитых туфель -
шик-блеск, а для чего?"
"Девицам для танцулек.
Мне за чужими дочерьми не уследить.
О, Господи! Дай мне припомнить всех,
кому расшила обувь!"
"А где же Джон?"

"Неуж не увидал? Чудно вас развело.
Вот ты - к нему, а он к тебе поехал
Навстречу двигались - не видели друг друга.
Он, верно, к Гарландам свернул.
Раз так - вернётся скоро. Ты можешь подождать.
Тебе не к спеху, а у друга
дела плохи. Слыхал ли? Ведь Эстель сбежала".

"Да, в чём причина? И когда ж она ушла?"

"Минуло две недели".
"И что, неуж всерьёз?"

"Уверена, что насовсем. Куда-то скрылась.
Куда - сама не знаю, а Джон не верит.

Он думает, лишь я скажу словечко -
она вернётся, но, ей-богу, я, мать её, -
а не могу ей приказать, Господь - свидетель!"

"Удар для Джона. Что ж он будет делать?
Взамен неё другой не отыскать".

"О, ты спросил меня, что будет делать Джон?
Навалит булочек, чтоб выспросить меня
за трапезой; захочет вызнать,
чего желает дочь и где она.
Когда уйду - мне здесь нельзя остаться -
Эстель возьмёт меня туда, где будет.
Друг другу я и Джон теперь помеха.
Хоть я и говорю, что взять меня отсюда
сквозь дверь не выйдет, как орган из церкви.
Я здесь пятнадцать лет".
"Немаленькое время
вы вместе прожили, чтоб вдруг расстаться.
Как он здесь будет жить без вас обеих?
Когда уйдёте, дом останется пустым".

"А я его и так не вижу много лет.
Со мною здесь одна лишь только мебель.
Об этом месте мне и думать ненавистно -
с его ручьём, бегущим за двором,
где никого, лишь квохчущие куры.
Когда б он мог продать участок - но нельзя.
Никто не станет жить тут снова.
Тут изнеможешь. Это самый худший.
Что станет делать? - Пусть он всё разрушит.
Он проклянёт что было. Он ужасен!
Ещё ни у кого семейные проблемы
так не влияли на дела в хозяйстве.
Он всё забросил, он - как малое дитя.
Его неправильно воспитывала мать.
Он трижды вымочил всё сено под дождём.

Я видела, как он вчера мотыжил.
Решила этот труд ему полезен.
Не тут-то было. Бросил прочь мотыгу.
Метнул обеими руками вверх. Смотри.
Я покажу тебе - вот в эту яблоню.
Идёт ли это человеку в его годах:
полвека и ещё пять лет. Ты знаешь".

"А вам не страшно с ним. Что это за ружьё?"

Он отгонял с ним ястребов от кур.
Джон Холл не тронет ни меня, ни друга.
Скажу любому, Джон совсем не грозен.
Не как другие. Джона не боятся.
Он думает, бывает, что не стерпит,
но может всё перетерпеть".
"Но где ж Эстель?"
Нельзя ли с ней поговорить? Что скажет?
Неуж не знаете".
"И не желаю знать!"
Раз думает, что жить с ним скверно,
имеет право и покинуть".
"Не имеет!"

"Он должен был на ней жениться".
"Я знаю".
"Она жила в огромном напряженье:
я не могу сказать об этом по-другому.
Мужчине легче, в том числе и Джону:
он может быть помягче, не мучая других.
Желал прожить без брака так же хорошо,
как в браке - вот что он твердил.
В нём было чувство, но решенья не менял".

"Я удивляюсь, почему он не венчался
и не покончил с этим".
"А теперь уж поздно.

Он дал ей время, чтоб подумать о другом.
Вот в чём ошибся, а я, мой друг, хотела
хоть как-то удержать их от разрыва.
Здесь славный дом, мне лучшего не нужно.
Когда пытала, отчего б им не жениться,
он отвечал: "К чему нам?" - и больше ничего".

"Так почему же, наконец? Ведь Джон был честен.
Я так считаю. С нею всем делился.
Из-за имущества здесь споров не бывало".

"Причины были, а имущество - ни в грош.
Хороший друг, ну, два, - ценней подобной фермы,
а эту даже не заложишь".

"А я считал, все деньги были у Эстели".

"Права на это было нужно заслужить.
Так мы с Эстелью наполняли кошелёк.
Не он давал нам деньги - мы ему.
Джон - скверный фермер, хоть его я не виню.
Из года в год он не имел успеха.
Мы здесь осели ради дома для меня.
Эстель вела домашнее хозяйство,
чтоб обе жили и кормились. Что же вышло:
она всё делала здесь в доме, а сверх того
и половину всех работ на ферме.
Так Джон сказал - ей нравится работа в поле.
Всё ценное у нас, в итоге, - на дворе:
у нас коровы, свиньи, куры лучше,
в сравнении с другими здесь в округе.
У фермеров, что дважды нас богаче,
таких не водится. Там дело не идёт.
Но есть черта, что ухудшает облик Джона.
Он ценит наши достиженья чересчур.
Эстель не жалуется. Это ей приятно.
Желает разводить лишь самых лучших кур.

Жаль, ты здесь перед выставкою не был.
Набралось множество дрожащих длинных птиц,
в отдельных клетках, всяческих плюмажах.
Как пахло пухом и пером в жарище!
Ты спрашивал, не страшно ли вдвоём со Джоном.
Когда б ты видел, что за нежными мы были:
Боялись сделать курам больно. Ты б видел нас,
когда перемещали стадо кур куда-то.
Нам не велели их носить вниз головой.
Носили бережно, беря под ножки,
по две одновременно и по одной в руке.
Неважно, сколько нужно было ходок
и далеко ли".
"Выходит, так задумал Джон".

"Да, мы такие правила блюдём. Не знаю,
уж не ребячество ли им руководит.
Он умудряется держать над всеми верх
на ферме. Он хозяин. А что до кур,
то мы огородили там от них цветы.
На птиц не угодишь, но окупаются.
Джон любит говорить нам о заказах:
по двадцать - двадцать пять за петуха.
Но денег не берёт. Предпочитает,
раз столько стоят при продаже,
то лучше сохранить их для себя в хозяйстве.
Спаси тебя Господь. Одни расходы.
Хотя подай мне с полочки коробку.
Коробочку из жести с верхней полки.
Я покажу тебе".
"Что это?"
"Билль -
проект постановления властей
платить полсотни долларов за петуха
Лангшан* - но птицу оставлять владельцу".

"Не для витрины, всё же?"

"Высокая нужна:
Он мог бы, стоя на земле, клевать из бочки.
В витрине он уж был, в Дворце из Хрусталя -
приплыл из Лондона по нашему заказу.
Счёт был оплачен Джоном деньгами за бисер.
А петуху дала я имя "Вампум".
Не жалуюсь, и мы заботимся о нём".

"Всё славно. А дела пошли лишь хуже".

"Да так, и он беспомощен в придачу.
Мне даже трудно рассказать об этом.
Он стал внимательно рассматривать счета.
Решил, что деньги исчезают слишком быстро.
Сам знаешь, как порой смешны бывают люди.
Хоть смейся, увидав, как он увяз,
неаккуратен, неопрятен, что с ним будет...?"

"От этого всё портится. Вы просто слепы".

"Эстель одна. Что толку говорить со мной?

"Смогли бы ль вы да я раскрыть причины?
Чем недовольна? Как её нам успокоить?"

"Так я скажу. Она от Джона отвернулась".

"Но почему? Жизнь славная. Вокруг соседи.
Осталась без друзей?"
"Друзья за нас.
Не в них причина. Нас не обижают".

"Она волнуется. В семействе нелады.
Но вы же мать".
"Но не всегда влияю.
Не радовалась ссорам и прежде, и потом,
но стала привыкать, а сверх того...

Джон мне сказал, что я стара быть бабкой.
Да и о чём судачить, когда она ушла?
Уж не вернётся, даже хуже - и не может".

"Зачем вы так сказали? Что вам известно?
На что намёк? Не навредила ли себе?"

"Я думаю, что вышла замуж за другого".

"Ого!"
"Ты мне не веришь".
"Поверил,
ошарашен вестью, хоть сам подозревал!
Так вот что крылось! Она - дурная, вот и всё!"

"Неужто дурно выйти замуж, когда есть шанс?"

"Немыслимо! Что натворила! За кого же...?"

"И впрямь, кто б взял её из этого бедлама?
Скажи в глаза, хоть я ей мать!
Нашёлся человек. А кто - я промолчу.
И Джон не представляет, кто такой".

"Что ж, дело кончено. Пойду куда подальше.
Вы ждёте Джона. Я сочувствую Эстели.
Она достойна жалости, конечно.
Вам нужно заводить себе другую кухню.
Его - разрушена. Ищите чем заняться".

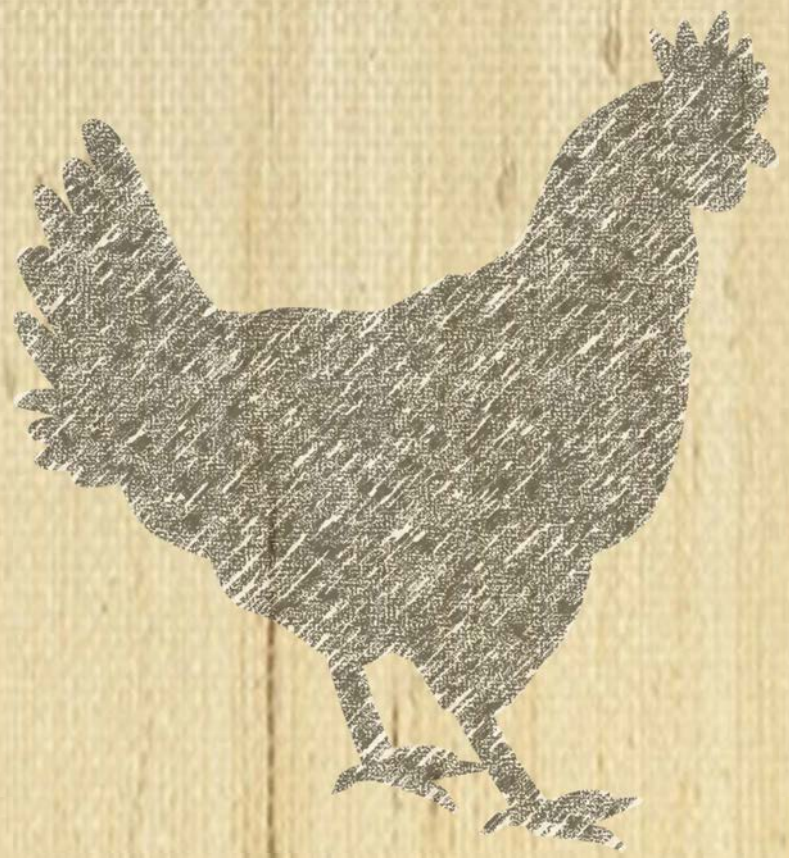
"Не вздумай поскорей уйти.
Джон скоро будет. Как я отсюда вижу,
с холма спускается мужчина, должно быть, он.
А вот и он. Припрячь коробку с биллем".

"Куда спешить? Привязывает лошадь".

"Нет, вовсе нет. Он просто бросил вожжи,
снял удила и повернул пастись.
С колёсами она далёко не уйдёт.
Вреда не будет. Вот заходит.
Ой! Смотрит так, как будто нас подслушал!"

Джон стал в распахнутой двери, но не вошёл.
"Эй, как живёшь сосед? А я тебя искал.
"Ну, разве тут не Ад? Хотел бы я узнать.
Давай-ка выйдем, если хочешь слушать. -
С тобой, старуха, я поговорю потом. -
Услышал новость, хоть для вас она не новость.
Что собрались мне сделать эти двое?"

"Иди-ка с ним и сделай так, чтоб не кричал!"
Потом сказала громче за закрытой дверью:
"Кому ты нужен со своими новостями,
страшный дурень?"



The Housekeeper

I let myself in at the kitchen door.
"It's you," she said. "I can't get up. Forgive me
Not answering your knock. I can no more
Let people in than I can keep them out.
I'm getting too old for my size, I tell them.

My fingers are about all I've the use of
So's to take any comfort. I can sew:
I help out with this beadwork what I can."
"That's a smart pair of pumps you're beading there.

Who are they for?"
"You mean? - oh, for some miss.
I can't keep track of other people's daughters.
Lord, if I were to dream of everyone
Whose shoes I primped to dance in!"
"And where's John?"
"Haven't you seen him? Strange what set you off
To come to his house when he's gone to yours.
You can't have passed each other. I know what:
He must have changed his mind and gone to Garlands.
He won't be long in that case. You can wait.
Though what good you can be, or anyone--
It's gone so far. You've heard? Estelle's run off."
"Yes, what's it all about? When did she go?"
"Two weeks since."
"She's in earnest, it appears."
"I'm sure she won't come back. She's hiding somewhere.
I don't know where myself. John thinks I do.
He thinks I only have to say the word,
And she'll come back. But, bless you, I'm her mother--
I can't talk to her, and, Lord, if I could!"

"It will go hard with John. What will he do?
He can't find anyone to take her place."
"Oh, if you ask me that, what will he do?
He gets some sort of bakeshop meals together,
With me to sit and tell him everything,
What's wanted and how much and where it is.
But when I'm gone - of course I can't stay here:
Estelle's to take me when she's settled down.
He and I only hinder one another.
I tell them they can't get me through the door, though:
I've been built in here like a big church organ.
We've been here fifteen years."
"That's a long time
To live together and then pull apart.
How do you see him living when you're gone?
Two of you out will leave an empty house."
"I don't just see him living many years,
Left here with nothing but the furniture.
I hate to think of the old place when we're gone,
With the brook going by below the yard,
And no one here but hens blowing about.
If he could sell the place, but then, he can't:
No one will ever live on it again.
It's too run down. This is the last of it.
What I think he will do, is let things smash.
He'll sort of swear the time away. He's awful!
I never saw a man let family troubles
Make so much difference in his man's affairs.
He's just dropped everything. He's like a child.
I blame his being brought up by his mother.
He's got hay down that's been rained on three times.
He hoed a little yesterday for me:
I thought the growing things would do him good.
Something went wrong. I saw him throw the hoe
Sky-high with both hands. I can see it now--
Come here - I'll show you--in that apple tree.
That's no way for a man to do at his age:

He's fifty-five, you know, if he's a day."
"Aren't you afraid of him? What's that gun for?"
"Oh, that's been there for hawks since chicken-time.
John Hall touch me! Not if he knows his friends.
I'll say that for him, John's no threatener
Like some men folk. No one's afraid of him;
All is, he's made up his mind not to stand
What he has got to stand."
"Where is Estelle?
Couldn't one talk to her? What does she say?
You say you don't know where she is."
"Nor want to!
She thinks if it was bad to live with him,
It must be right to leave him."
"Which is wrong!"
"Yes, but he should have married her."
"I know."
"The strain's been too much for her all these years:
I can't explain it any other way.
It's different with a man, at least with John:
He knows he's kinder than the run of men.
Better than married ought to be as good
As married - that's what he has always said.
I know the way he's felt--but all the same!"
"I wonder why he doesn't marry her
And end it."
"Too late now: she wouldn't have him.
He's given her time to think of something else.
That's his mistake. The dear knows my interest
Has been to keep the thing from breaking up.
This is a good home: I don't ask for better.
But when I've said, 'Why shouldn't they be married,'
He'd say, 'Why should they?' no more words than that."
"And after all why should they? John's been fair
I take it. What was his was always hers.
There was no quarrel about property."
"Reason enough, there was no property.

A friend or two as good as own the farm,
Such as it is. It isn't worth the mortgage."
"I mean Estelle has always held the purse."
"The rights of that are harder to get at.
I guess Estelle and I have filled the purse.
'Twas we let him have money, not he us.
John's a bad farmer. I'm not blaming him.
Take it year in, year out, he doesn't make much.
We came here for a home for me, you know,
Estelle to do the housework for the board
Of both of us. But look how it turns out:
She seems to have the housework, and besides,
Half of the outdoor work, though as for that,
He'd say she does it more because she likes it.
You see our pretty things are all outdoors.
Our hens and cows and pigs are always better
Than folks like us have any business with.
Farmers around twice as well off as we
Haven't as good. They don't go with the farm.
One thing you can't help liking about John,
He's fond of nice things - too fond, some would say.
But Estelle don't complain: she's like him there.
She wants our hens to be the best there are.
You never saw this room before a show,
Full of lank, shivery, half-drowned birds
In separate coops, having their plumage done.
The smell of the wet feathers in the heat!
You spoke of John's not being safe to stay with.
You don't know what a gentle lot we are:
We wouldn't hurt a hen! You ought to see us
Moving a flock of hens from place to place.
We're not allowed to take them upside down,
All we can hold together by the legs.
Two at a time's the rule, one on each arm,
No matter how far and how many times
We have to go."
"You mean that's John's idea."

"And we live up to it; or I don't know
What childishness he wouldn't give way to.
He manages to keep the upper hand
On his own farm. He's boss. But as to hens:
We fence our flowers in and the hens range.
Nothing's too good for them. We say it pays.
John likes to tell the offers he has had,
Twenty for this cock, twenty-five for that.
He never takes the money. If they're worth
That much to sell, they're worth as much to keep.
Bless you, it's all expense, though. Reach me down
The little tin box on the cupboard shelf,
The upper shelf, the tin box. That's the one.
I'll show you. Here you are."
"What's this?"
"A bill--
For fifty dollars for one Langshang* cock--
Receipted. And the cock is in the yard."
"Not in a glass case, then?"
"He'd need a tall one:
He can eat off a barrel from the ground.
He's been in a glass case, as you may say,
The Crystal Palace, London. He's imported.
John bought him, and we paid the bill with beads--
Wampum, I call it. Mind, we don't complain.
But you see, don't you, we take care of him."
"And like it, too. It makes it all the worse."
"It seems as if. And that's not all: he's helpless
In ways that I can hardly tell you of.
Sometimes he gets possessed to keep accounts
To see where all the money goes so fast.
You know how men will be ridiculous.
But it's just fun the way he gets bedeviled--
If he's untidy now, what will he be----?
"It makes it all the worse. You must be blind."
"Estelle's the one. You needn't talk to me."
"Can't you and I get to the root of it?

What's the real trouble? What will satisfy her?"
"It's as I say: she's turned from him, that's all."
"But why, when she's well off? Is it the neighbours,
Being cut off from friends?"
"We have our friends.
That isn't it. Folks aren't afraid of us."
"She's let it worry her. You stood the strain,
And you're her mother."
"But I didn't always.
I didn't relish it along at first.
But I got wonted to it. And besides--
John said I was too old to have grandchildren.
But what's the use of talking when it's done?
She won't come back - it's worse than that - she can't."
"Why do you speak like that? What do you know?
What do you mean? - she's done harm to herself?"
"I mean she's married - married someone else."
"Oho, oho!"
"You don't believe me."
"Yes, I do,
Only too well. I knew there must be something!
So that was what was back. She's bad, that's all!"
"Bad to get married when she had the chance?"
"Nonsense! See what's she done! But who, who----"
"Who'd marry her straight out of such a mess?
Say it right out - no matter for her mother.
The man was found. I'd better name no names.
John himself won't imagine who he is."
"Then it's all up. I think I'll get away.
You'll be expecting John. I pity Estelle;
I suppose she deserves some pity, too.
You ought to have the kitchen to yourself
To break it to him. You may have the job."
"You needn't think you're going to get away.
John's almost here. I've had my eye on someone
Coming down Ryan's Hill. I thought 'twas him.
Here he is now. This box! Put it away.

And this bill."
"What's the hurry? He'll unhitch."
"No, he won't, either. He'll just drop the reins
And turn Doll out to pasture, rig and all.
She won't get far before the wheels hang up
On something--there's no harm. See, there he is!
My, but he looks as if he must have heard!"
John threw the door wide but he didn't enter.
"How are you, neighbour? Just the man I'm after.
Isn't it Hell," he said. "I want to know.
Come out here if you want to hear me talk.
I'll talk to you, old woman, afterward.
I've got some news that maybe isn't news.
What are they trying to do to me, these two?"
"Do go along with him and stop his shouting."
She raised her voice against the closing door:
"Who wants to hear your news, you - dreadful fool?"

1914 "North of Boston".

Примечание.

Переводов стихотворения "The Housekeeper" на русский язык в интернете обнаружить не удалось. По сути это стихотворение представляет собой одноактную пьесу, что-то вроде маленькой трагедии из сельской жизни на ферме, где пожилая женщина (Рут) беседует с соседом по ферме (Чарлзом) о причинах разрыва своей дочери Эстели с хозяином фермы Джоном. Возможные варианты для русского названия этого произведения: "Экономка" или "Домоправительница".

***Лангшан** - редкостная и в разных отношениях ценная порода красивых крупных домашних кур, происходящая из Китая, чьё разведение связано с различными трудностями.

Как трудно не принять венца...

Как трудно не принять венца,
когда велят твой дух и обстановка.

Король сказал: «Мой сын! Услышь решенье:
бери страну и правь по разуменью.
Я вечером уйду. Возьми венец».

Принц вовремя успел отдёрнуть руку,
чтоб оттолкнуть ненадобный предмет -
венец упал, каменья раскатились.
Принц стал их подбирать и объяснил:
"Сир, вид Империи мне не по нраву,
я предпочту уйти вдвоём с тобой".

Согласовав двойное отреченье,
они тайком покинули дворец,
недалеко ушли в теченье ночи
и сели отдохнуть на берегу.
Трава была в пыли. Сияли звёзды.
Отец промолвил, глядя в небеса -
на Ригель, Беллатрикс и Бетельгейзе:
"Гляжу на них, меня объемлет страх.
Моя судьба им просто безразлична.
Нет смысла думать, что забыл свой долг.
Но трудно позабыть, что ты властитель,
когда велят твой дух и сложный час.
Свидетель, как-то сложно, - Юлий Цезарь,
поскольку не сумел оставить власть,
то был убит мечом злодея Брута.
Вот Вашингтон терзаний избежал.
Меня ж моя корона не обгонит,
пусть катится за мной, как колесо.

Принц высказался против суеверий:
"Корону лучше было б заложить".

"Ты прав, - сказал отец. - Без денег плохо.
Не отведёшь ли ты тогда меня
на рынок, где вершат работорговлю.
Там выгодно продашь, и та цена
пойдёт тебе для основанья дела,
а, если склонен, сочиняй стихи.
Не мне тебя учить, кем должен стать".

Так экс-король был выставлен на рынке
за десять тысяч долларов - как раб.
Когда явился первый покупатель,
на спрос, к чему пригоден, доложил:
"Я знаю квинтэссенцию всей пищи,
я знаю квинтэссенцию вещей,
я знаю квинтэссенцию всех перлов
и квинтэссенцию коней и дам.

И евнух-покупатель был доволен.
"Вот куча денег. Кто твой продавец?
Вот он тебя привёл. Громила! Славно.
Пойдёшь на помощь повару в дворце.
Покажешь в Занаду, что ты умеешь.
Ты, хвастаясь, сперва назвал еду
как квинтэссенцию всех квинтэссенций".

"Я с Родоса и выучился там,
оттуда вынес всё, что там освоил".

Раб взялся за посудное мытьё...
Допущен был к приготовленью пищи,
когда шеф-повар сильно заболел.
(Был очень темпераментный мужчина).
От яств весь пир пришёл в большой восторг,
и Царь осведомился, кто готовил.

"Тот раб, что будто знает много тайн,
не только про еду, но и про всё:
о дамах, песнях, лошадях и перлах".

Царь был радушен: "Раб кормил нас всех -
допустим к пиру. Он теперь в фаворе.
Запомни, Хаман. Мы благоволим".

К Царю пришёл купец, привёзший жемчуг.
Брал тысячу за мелкое зерно,
за крупное зерно спросил пять сотен.
И царь одно одобрил за размер,
другое стоимостью поразило.
(Склонялся ограничиться одним).
Но вклинились с почтеньем два посланца,
из Понта, или неких дальних стран:
"Представьте, Сир, что тут не в перлах дело,
а выбор между миром и войной.
Мы просто жаждем царского ответа...
Совсем не думая про то пари,
про то, что может быть во вред и в пользу,
кухонный раб сказал, вмешавшись в спор,
чтоб царь избавлен был от колебаний:

"Оценка малого зерна - верна.
Большое - брак. Сломайте и проверьте.
Рискую головой. В средине - щель.
Позвольте мне". Он двинул жемчуг пяткой
и показал, что в нём морской червяк.

"Как ты про то узнал?" - воскликнул Дарий.

"Я ж знаю квинтэссенцию вещей,
и в том числе редчайших украшений.
Мне нужно было только угадать,
что в жемчуге, нагретом от природы,
скрывается другое существо".

"С почётом, вновь, позвать его на пир!".

Так шёл он от триумфа до триумфа,
покуда Царь, однажды заболев, -
(почти в-точь так же, как его шеф-повар,
хотя никто в том связи не видал) -
не пригласил экс-короля к себе.
"Не ты ли видишь сущность человека,
не хуже целой сотни прочих тайн?
С чего я мучусь, отчего несчастлив?
Скажи мне всё, что знаешь обо мне".

"Но вы не соответствуете месту.
Отец ваш повар. Родом вы - не царь".

"За это ты умрёшь".
"Так разузнайте".

Царь к матери пошёл. Вопрос смущал.
"Ну, да, - сказала. - Расскажу позднее
всю родословную. Ты будешь знать.
Мой род и знаменит, и благороден.
Он необычен. Сколько королей
в супруги брали уличных девчонок.
Мой род не тот..." Царь больше не внимал,
но поспешил к рабу. Решил заверить,
что казнь он заслужил, но не за ложь,
напротив, за рассказанную правду.
"Ты должен умереть за колдовство,
но объясни, чтоб вымолить пощаду,
как ты сумел узнать, кто мой отец".

"Когда б Царём вы были по рожденью,
я был бы награждён за все дела.
Вы б сделали меня своим визирем,
я стал бы очень знатен и богат.
Но вы мне честь воздали лишь пирами.

Я выбрал вам надёжного коня.
И это было раз, и два, и трижды.
В боях, где вы боялись проиграть,
я гарантировал вам безопасность,
хотя был риск в любой из ваших войн,
неважно на котором континенте.
Вы усмехались после всех суровых битв.
Вы потеряли армию в Мосуле,
сподвижники погибли, вы спаслись.
Не правда ли? А где ж моя награда?
Закатан был большой всенощный пир.
Опять еда! Вы этим одержимы.
Сын повара в вас виден что ни раз.
Так я и понял, что отец ваш - повар.
Как Царь вы в ваших мыслях про народ,
печётесь лишь о том, чтоб был накормлен".

А Царь ответил: "Все, кого прочёл,
считают это важным царским делом".

"К тому ж нужны и символ, доблесть, цель.
Царь должен воспитать в народе доблесть".

"Какая доблесть, если нет еды?"

"Вы - безнадёжны", -молвит раб.

"Я вижу, -
ответил Дарий, - как жалок пред тобой.
Ты - мудр, так просвещай меня и дальше.
Наставь меня, как нужно управлять,
на случай, если я решусь продолжить.
Какую нужно дать народу цель?"

"Пусть будет счастлив, как ему угодно.
Но это трудно - надобно сказать -
без должного учёта всех желаний.

Учёт - тот лаз, куда войдёт Прогресс.
Возможно, мы б его сдержали как-то,
отметив некий постоянный пункт,
как Мэдисон однажды попытался,
но нет: то женщины желают прав,
то весь народ, естественной дорогой,
включается в извечный долгий цикл -
Царь - смута, снова Царь - и снова смута.
За каждым вихрем - вслед водоворот".

"Таков Прогресс, - отметил Дарий кротко. -
Свобода - тоже слово не по мне.
Ты знаешь всё, скажи мне о Свободе.
Что-то за символ, доблесть, что за цель?
У моего сатрапа Тиссаферна
бунтуют греческие города.
Они сейчас толкуют о Свободе".

"Вот оборванец с лирой. Он мой сын, -
промолвил экс-король. - Он в этом дока.
Тот самый, что взял деньги за меня,
когда продал. Но я не упрекаю.
Он бравый парень. Я ему велел.
То был мой вклад - как грант Карнеги,
чтоб выучился, как писать стихи,
хоть есть сомнение: при чём тут деньги?
А на экзамен денег не хватило.
Но это всё его не тяготит.
Он мог бы делать что-нибудь иное,
чтоб заработать. Он решает сам.
Желаю, чтоб он стал кем хочет.
Бродя, он посетил семь городов,
где жил Гомер. Он знает о Свободе.
Он культивирует Свободный стих.
Он пишет речи о семи Свободах:
свободной Воле, Мысли и Любви,
о вольности Стиха, Труда и Слова.

Известны деньги, что чеканит Кос -
сын защищает вольную Чеканку.
Его зовут Омар, почти Гомер,
как это прозвучало бы на кокни".

"Свобода - рабство, - заявил поэт, -
когда мы верим в правоту кумиров,
мол, Маркс с Христом нас всех освободят.
Не доверяйте хитрым парадоксам.
Свободу обеспечит лишь побег.
Отец и я, мы опытны, мы знаем.
Мы чувствуем в момент, когда бежим,
что мчим подобно атомным осколкам.
Из гнёта и отсутствия свобод
рождаются и царские проблемы.
Не будь порядка в школах и стране,
так всем нам убираться, как ракетам,
как косточкам из сжатых в пальцах вишен".

"От этих перспектив - хоть удавись.
Простите, что прервал, но я несчастен.
Должно быть, прикажу меня казнить,
а твоему отцу принять венец".

"Но он и так Король, пусть не скрывает.
Хотя всезнайка, кое в чём не прав.
Свободные стихи мне непривычны.
Я не хочу быть лучше, чем я есть.
Пишу стихи определённого размера.
То не свободный стих, а белый стих,
обычный строгий стих с упрямым ритмом.
То всем привычный строгий чёткий ямб,
хотя порой бывают послабленья.
Ямб напряжён и создаёт мотив.
Мотив в стихе рождает музыкальность.
Мотив - не то что метр, не то что ритм.
Он - ёмкий результат их сочетанья.

Мы слышим ямб, раскрыв библейский том,
он освящён устами Иеговы.
Свободный стих пригоден для молитв,
для интонации церковных текстов.
Свободному стиху не нужен метр.
На деле он - взлелеянная проза.
В нём есть напевность и сакральный дух.
В нём есть краса, но я пишу иначе.
Поэтому, пожалуй, воздержусь
от разглагольствований о свободе,
с которой мы встречаемся в стихах
таких творцов как Сэндберг и Уитмен.
Теперь позвольте мне вас попросить:
Пусть Тиссаферн не возражает грекам.
Они упорно и всерьёз хотят
реальной политической свободы.
Творцам она не так уж и важна.
Необходимую для них свободу
они обычно чувствуют в себе
и в самой сути своего искусства.
Никто извне её не может дать.
В себе они её не потеряют
и не молчат, встречая всякий гнёт.
Им больше по душе противоборство,
им не с руки бездейственно терпеть
когда за качествами нет объектов,
когда за именами нет людей
и отовсюду вызов всяких джиннов.
Не знаем, чем увлечься в данный миг.
Вином ли? Но верней всего любовью -
и то, и это может ублажить
и пособит забыть вражду и ревность.
Вот так "бегут", по мнению отца.
Свобода брезжится в безумных связях,
и лучшего не хочется искать.
Все дни летят в мечте о возвращенье.
Есть валентинка - (Помните ли вы?) -

Аспазии - от страстного Перикла:

"Для Бога высшая любовь вольна.
И весь его успех - в сопоставленье:
увидя вас, он вспомнил обо мне".

Посмотрим, где мы? Мы на переходе.
Уходит Царь, приходит экс-король.
Какое возбуждающее время -
со всеми толками про юные мечты,
но юность ничего не сотворила.
И сам я неизвестен никому,
поэтому в Цари не приглашают.
А Дария за пояс взял палач,
затем, чтобы предать по-азиатски
забвению - без всякого суда.
Но Дарий, кажется, и сам не против.
Рассудка азиата не понять.
Отец вернулся к точке отправленья.
Победа суеверий налицо.
Осталось клясть светившее нам небо:
Капеллу, Сириус, Альдебаран.
(Когда бежали мы из Ктесифона,
светила с неба эта тройка звёзд).
Но те глазели, в дело не мешаясь.
(К чему же нам негодовать теперь?)
Но не было ли то большим показом
его грядущих драгоценных барм?
Как трудно не принять короны,
когда велят твой дух и трудный час!
В том корень половины потрясений
(возможно, больше половины) в мире.
Вот то, что я решил сказать в конце".

How Hard Is It to Keep from Being King

When It's in You and in the Situation

The King said to his son: “Enough of this!
The Kingdom’s your to finish as you please.
I’m getting out tonight. Here, take the crown.”

But the Prince drew away his hand in time
To avoid what he wasn’t sure he waited.
So the crown fell and the crown jewels scattered.
And the Prince answered, picking up the pieces,

“Sire, I’ve been looking on, and I don’t like
The looks of empire here. I’m leaving with you.”
So the two making good their abdication
Fled from the palace in the guise of men.
But they had not walked far into the night
Before they sat down weary on a bank
Of dusty weeds to take a drink of stars.
And eyeing one he only wished were his,
Rigel, Bellatrix, or else Betelgeuse,
The ex-King said, “Yon star’s indifference
Fills me with fear I’ll be left to my fate:
I needn’t think I have escaped my duty,
For hard it is to keep from being King
When it’s in you and in the situation.
Witness how hard it was for Julius Caesar.
He couldn’t help himself from being King.
He had to be stopped by the sword of Brutus.
Only less hard it was for Washington.
My crown shall overtake me, you will see:
It will come rolling after us like a hoop.

“Let’s not be superstitions, Sire.” the Prince said.
"We should have brought the crown along to pawn.”

“You’re right,” the ex-King said, “we’ll need some money.
How would it be for you to take your father
To the slave auction in some marketplace
And sell him into slavery? My price
Should be enough to set you up in business—
Or making verse if that is what you’re bent on.
Don’t let your father tell you what to be.”

The ex-King stood up in the marketplace
And tried to look ten thousand dollars’ worth
To the first buyer coming by who asked
What good he was he boldly said, “I’ll tell you:
I know the Quintessence of many things.
I know the Quintessence of food, I know
The Quintessence of jewels, and I know
The Quintessence of horses, men and women.”

The eunuch laughed: “Well that’s a lot to know.
And here’s a lot of money. Who’s the taker?
This larrikin? All right. You come along.
You’re off to Xanadu to help the cook.
I’ll try you in the kitchen first on food
Since you put food first in your repertory.
It seems you call quintessence quintessence.

“I’m a Rhodes scholar - that’s the reason why.
I was at college in the Isle of Rhodes.”

The slave served his novitiate dishwashing.
He got his first chance to prepare a meal
One day when the chief cook was sick at heart.
(The cook was temperamental like the King.)
And the meal made the banqueters exclaim
And the Great King inquire whose wok it was.

“A man’s out there who claims he knows the secret.
Not of food only but of everything.

Jewels, horses, women, wine, and song."

The King said grandly, "Even as we are fed
See that our slave is also. He's in favor.
Take notice, Haman, he's in favor with us."

There came to court a merchant selling pearls,
A smaller pearl he asked a thousand for,
Al larger pearl he asked five hundred for.
The King sat favoring one pearl for its bigness.
And then the other for its costliness.
(He seems to have felt limited to one),
Till the ambassadors from Punt or somewhere
Shuffled their feet as if to hint respectfully,
"The choice is not between two pearls, O King.
But between peace and war as er conceive it.
We are impatient for your royal answer."
No estimating how far the entente
Might have deteriorated had not someone
Thought of the kitchen slave and had him in
To put an end to the King's vacillation.

And the slave said, "The small one's worth the price,
But the big one is worthless. Break it open.
My head for it - you'll find the big one hollow.
Permit me." And he crushed it under his heel
And showed them it contained a live teredo.

"But tell us how you knew," Darius cried.

"Oh, from knowledge of its quintessence.
I told you I knew the quintessence of jewels.
But anybody could have guessed in this case,
From the pearl's having its own native warmth.
Like flesh, there must be something living in it."

"Feed him another feast of recognition"

And so it went with triumph after triumph
Till on a day the King, being sick at heart
(The King was temperamental like his cook,
But nobody noticed the connection),
Sent for the ex-King in a private matter.
"You say you know the inwardness of men,
As well as your hundred other things.
Dare to speak out and tell me about myself.
What ails me? Tell me. Why am I unhappy?"

"You're not where you belong. You're not a King
Of royal blood. Your father was a cook."

"You die for that."

"No, you go and ask your mother."

His mother didn't like the way he put it,
"But yes," she said, "someday I'll tell you, dear.
You have a right to know your pedigree.
You're well descended on your mother's side,
Which is unusual. So many Kings
Have married beggar maids from off the streets.
Your mother's folks - "

He stayed to hear no more,
But hastened back to reassure his slave
That if he had him slain it wouldn't be
For having lied but having told the truth.
"At least you ought to die for wizardry.
But let me into it and I will spare you.
How did you know the secret of my birth?"

"If you had been a King of royal blood,
You'd have rewarded me for all I've done
By making me your minister-vizier,
Or giving me a nobleman's estate.

But all you thought of giving me was food.
I picked you out a horse called Safety Third.
By Safety Second out of Safety First,
Guaranteed to come safely off with you
From all the fights you had a mind to lose.
You could lose battles, you could lose whole wars,
You could lose Asia, Africa and Europe,
No one could get you: you would come through smiling.
You lost your army at Mosul. What happened?
You came companionless, ut you came home.
Is it not true? And what was my reward?
This time an all-night banquet, to be sure,
But still food, food. Your one idea was food.
None but a cook's son could be so food-minded.
I know your father must have been a cook.
I'll bet you anything that's all as King
You think of for your people - feeding them."

But the King said, "Haven't I read somewhere
There is no act more kingly than to give?"

"Yes, but give character and not just food.
A King must give his people character."

"They can't have character unless they're fed."

"You're hopeless," said the slave.

"I guess I am;
I am abject before you," said Darius.
"You know so much, go on, instruct me further.
Tell me some rule for ruling people wisely,
In case I should decide to reign some more.
How shall I give people character?"

"Male them as happy as it is good for them.
But that's a hard one, for I have to add:

Not without consultation with their wishes;
Which is the crevice that lets Progress in.
If we could only stop the Progress somewhere,
At a good point for pliant permanence,
Where Madison attempted to arrest it.
But no, woman has to be her age,
A nation has to take its natural course
Of Progress round and round in circles
From King top Mob to King to Mob to King
Until the eddy of it eddies out.

"So much for Progress," said Darius meekly.
"Another word that bothers me is Freedom.
You're good at maxims. Say me one on Freedom.
What has it got to do with character?
My satrap Tissaphernes has no end
Of it with his Grecian cities
Along the Aegean coast. That's all they talk of."

"Behold my son here with his lyre,"
The ex-King said. "We're in this thing together.
He is the one who took the money for me
When I was sold - and small reproach to him,
He's a good boy. 'Twas at my instigation.
I looked on it as a Carnegie grant
For him to make a poet of himself on
If such a thing is possible with money.
Unluckily it wasn't money enough
To be a test. It didn't last him, out.
And he may have to turn to something else
To earn a living. I don't interfere.
If want him to be anything he has to.
He has been begging through the Seven Cities
Where Homer begged. He'll tell you about Freedom.
He writes free verse I'm told, and he is thought
To be the author of the Seven Freedoms:
Free Will, Trade, Verse, Thought, Love, Speech, Coinage,

(You ought to see the coins done in the Cos.)
His name is Omar. I as a Rhodes scholar
Pronounce it Homer with a Cockney rough".

"Freedom is slavery some poets tell us.
Enslave yourself to the right leader's truth,
Christ's or Karl Marx', and it will set you free.
Don't listen to their play of paradoxes.
The only certain freedom's in departure.
My son and I have tasted it and know.
We feel it in the moment we depart
As fly the atomic smithereens to nothing.
The problem for the King is just how strict
The lack of liberty, the squeeze of law
And discipline should be in school and state
To insure a jet departure of our going
Like a pip shot from 'twixt our pinching fingers."

"All this facility disheartens me.
Pardon my interruption; I'm unhappy.
I guess I'll have the headsman execute me
And press your father into being King."

"Don't let him fool you; he's a King already.
But though almost all wise, he makes mistakes.
I'm not a free verse singer. He was wrong there.
I claim to be no better than I am.
I write real verse in numbers, as they say.
I'm talking not free verse but blank verse now.
Regular verse springs from the strain of rhythm
Upon a meter, strict or loose iambic.
From that strain comes the expression strains of music.
The tune is not that meter, not that rhythm,
But a resultant that arises from them.
Tell them Iamb, Jehovah said, and meant it.
Free verse leaves out the meter and makes up
For the deficiency by church intoning.

Free verse, so called, is really cherished prose,
Prose made of, given an air by church intoning.
It has its beauty, only I don't write it.
And possibly my not writing it should stop me
From holding forth on Freedom like a Whitman—
A Sandburg. But permit me in conclusion:
Tell Tissaphernes not to mind the Greeks.
The freedom they seek is by politics,
Forever voting and haranguing for it.
The reason artists show so little interest
In public freedom is because the freedom
They've some to feel the need of is a kind
No one can give them - they can scarce attain -
The freedom of their own material.
So, never at a loss in simile,
They can command the exact affinity
Of anything they are confronted with.
This perfect moment of unbafflement,
When no man's name and no noun's adjective
But summons out of nowhere like a jinni.
We know not what we owe this moment to.
It may be wine, but much more likely love -
Possibly just well-being in the body,
Or respite from the thought of rivalry.
It's what my father must mean by departure,
Freedom to flash off into wild connections.
Once to have known it, nothing else will do.
Our days all pass awaiting its return.
You must have read the famous valentine
Pericles sent Auspice in absentia:

For God himself the height of feeling free
Must have been His success in simile
When at sight of you He thought of me.

Let's see, where are we? Oh, we're in transition,
Changing an old King for another old one.

What an exciting age we live in -
With all this talk about the hope of youth
And nothing made of youth. Consider me,
How totally ignored I seem to be.
No one is nominating me for King.
The headsman has Darius by the belt
To lead him off the Asiatic way
Into oblivion without a lawyer.
But that is as Darius seems to want it.
No fathoming the Asiatic mind.
And father's in for what we ran away from.
And superstition wins. He blames the stars.
Aldebaran, Capella, Sirius
(As I remember they were summer stars
The night we ran away from Ctesiphon),
For looking on and not participating.
(Why are we so resentful of detachment?)
But don't tell me it wasn't his display
Of more than royal attributes betrayed him.
How hard it is to keep from being King
When it's in you and in the situation.
And that is half the trouble with the world
(Or more than half I'm half inclined to say)."

(1951) 1962 "In the Clearing".

Примечания.

Переводов этого произведения на русский язык в интернете не отыскалось.

Воссоздай почву

"Привет, Титир! Забыл меня, небось.
Я Мелибей с картофельных плантаций.
С тобой нам довелось поговорить
вот здесь же, в кампусе, годами раньше.
Пришло лихое время. Я в пути.
С картофелем пришлось расстаться.
Я обзавёлся фермою в горах,
гляжу в долину прямиком из двери.
Там лес и луг, пригодный для овец.
Теперь придётся с овцами возиться.
Прости-прощай осенний урожай
ценой три бушеля с лихвой за доллар.
Овечья шерсть идёт семь центов - фунт,
но сбыть её мне, видно, не удастся,
как и картофель - сам его поем.
Сварю баранину, оденусь в шкуры.
А ты живёшь на попеченье Муз.
Стихи о фермерском хозяйстве пишешь.
Я не виню, но так-то жить легко.
Когда б умел, я б этим сам занялся.
Помог бы нам, чьё дело - сельский труд.
Направь талант хотя бы на рекламу,
дай горожанам знать про наш товар,
чтоб улучшались цены на продукты.
Вот будут выборы - пиши о них".

"Ох, Мелибей, да я и сам не против
черкать о политических делах.
Но у поэтов нынче на заметке,
взамен иной политики, война.
О чём ни пишут, всё вражда и кровь".

"А я Титир, быть может, ошибаюсь,
но всех нас ждёт дурной переворот".

"Вопрос, достигнута ли глубина
отчаяния, чтобы нас, поэтов,
заставило уйти от вечных тем:
любви, страстей, да радости, да горя,
да смен сезонов, лета и зимы;
при том мы не уверены всегда,
кто именно нам головы морочит;
при том в нас всех амбиции сильны.
Возможно, жизнь, действительно, трагична,
я так бы и сказал, но не решусь.
Дай имена. Скажи мне, кто виновен.
Меня страшат известные стихи
о том, как был наказан шкипер Айрсон*.
Джордж Вашингтон, великий президент -
пример удачной мужественной жизни.
Художник Стюарт рисовал портрет
и славил созданное государство.
Но я предпочитаю говорить
о разных людях не простого склада,
творивших в жизни и добро и зло,
достойных похвалы и порицанья -
пусть судит компетентное жюри.
Что всё сегодня скверно, сомневаюсь.
Слежу, чем занимается Конгресс.
Их информация полнее нашей,
и, если где-нибудь большой провал,
так их обязанность забить тревогу:
будь то скривление земной оси,
будь то звезда, что метит слиться с Солнцем.
Они резвятся, вроде школяров
на перемене, в ходе долгих сессий,
заводят уйму всяких шумных игр,
вопят, играют в классики и прятки.
Пока творится эта чехарда,

то всё отлично. Пусть кричат газеты -
а нечего бояться! Я убеждён".

"Нуждаемся ли мы в социализме?"

"У нас он есть. Ведь тот социализм -
как смазка стыков при любом правленье.
Но в чистом виде он неприменим,
то только результат абстрактной мысли.
Демократический социализм
реален, также есть другие формы:
есть монархический социализм.
В России, кажется есть новый случай -
олигархический социализм.
В монархиях социализма больше,
при демократии - всего лишь чуть.
А что такое чистый - неизвестно.
Я думаю, что это как в любви,
когда все философствуют совместно -
одна болезнь и тела и души.
Мы ж, слава Богу, всю любовь оставим
вне щекотанья и смущенья чувств,
вдали от примитивных встреч и псарен,
от женщин при попах. То не любовь.
Любовь должна быть у мужчин и женщин;
конечно, к Богу, к детям и к друзьям;
лишь человеческая и святая.
Во всяком случае,- не примитив".

"Тогда поэзия - её основа".

"Прости за аналогию, мой друг.
Меня уволь. Давай вглядимся. Где я?"

"Не хочешь ли ты стать посоциальней,
чем есть?"
"Что значит слово "социальней"?"

"Твори на благо всем - изобретай,
но так, чтоб все мы получали пользу,
все, а не только хищный капитал".

"Иной раз мы имеем лишь потери.
В том смысле, как ты это объяснил,
кто социален, тот имеет склонность
сперва дерзать, а жадность мчит потом.
Но если необузданная личность
несоциальна, но одарена:
ей ни к чему своё возвеличенье,
достаточно побольше нахватать.
(Тут сходство с ненавистью и любовью).
Порой вредят секретные дела.
Один искусный колумбийский химик
тайком из джута изготовил шерсть.
И сразу десять тысяч овцеводов
лишатся всех доходов от пастьбы.
Все страстно жаждут для себя свободы:
(при том смекай, где вольность, где бесплатность),
свободный труд полезен для дельцов,
есть ходоки за вольною любовью,
оратор хочет права говорить.
писателю нужна свобода прессы.
Иной политик сильно блефовал,
но взлёт амбиций был не раз наказан,
а будущий их рост предупреждён.
Всех призывали, чтоб сдержали алчность,
чтоб дальше с ней покончили совсем.
Остаться в самоучках просто глупо,
но нас усердно учат рёв да рык.
Никто не должен быть честолюбивым
и предприимчивым во весь размах.
Нет, как бы я сказал. Нужны границы:
для слишком смелых и опасных новшеств;
для гонора, чтоб он не стал жесток.

Придумай сам пригодную узду".

"Будь я диктатор, знал бы, что нам делать".

"И что же?"
"Пусть внедряют что угодно,
но пострадавшим платят за ущерб".

"Ты вводишь страховую диктатуру.

Не пользуйся всем тем, что я сказал,
чтоб тут же выступать с других позиций,
не затевай совсем не нужный спор.
Я не боюсь предсказывать, что будет.
Суди по результатам, Мелибей,
а я готов пойти на высший риск.
Мы вечно то вдали, то угрязаем.
Как пишут, мы находимся вовне
космического расширенья. Вряд ли
мы можем снова очутиться в нём.
Но меж собой мы расширяем связи.
Так я завёл себе абонемент,
веду межличностный обмен с друзьями.
Перестаю болтать лишь сам с собой.
Но мне скорей чужда международность,
в моих делах я прежде гражданин.
Не смешиваю краски на палитре.
Навешал в зале разноцветных блюд -
эффект - как от гуаши на картине
и впечатляет, как изысканный дизайн.
Но иногда предметы так убоги,
что предстают подобием мазни.
"Вот, подивись. - Каким-то чёртом слеплен.-
Сготовленный из тины пирожок".
Из многих не поймёшь, который гаже.
Растрёпа пёк, и род его таков.
Не вздумай только возразить на это,

что вся проблема вовсе не важна.
Вещь может быть не значащей в итоге.
Возможно, встретим - не скажу когда -
и то, что будет древним, ценным, зрелым,
имеющим ярчайший колорит.
У нас есть выдержка, ещё дождёмся".

"Титир, меня порой терзал вопрос,
в чём смысл торговли? Для чего я должен
сбывать свои плоды и брать твои?
Чтоб дать грабителю удобный случай
стать на пути и взять товар как дань?
Вопрос простой, и видно, что в нём толку,
как в детских играх или болтовне,
чтоб просто поразмяться для здоровья.
Он вроде тренировки для ума".

"Сама судьба велит идти на рынок,
но хоть и много мы несём продать,
но более того, что остаётся,
что непродажно: почва, например.
Хоть нам обоим ведомы поэты,
что загрызут друг друга, чтобы сбыть
и почву, и подпочву, грунт и сланец,
и сено продадут, не только грунт.
А этот грех на фермах не прощают.
Мораль такая: распрощайся с рынком.
Послушай наставленье, Мелибей".

"Что ж, проповедуй, а верней, продолжи.
При том учти, что я способен возразить".

"Не стану повторять, я не сторонник,
чтоб смешивали город и село.
Землёй лишь те должны владеть по праву,
в ком есть к ней не рассудочная страсть,
хотя их даже ущемят в их интересах

и оскорбят закон, искусство и дельцы.
Пусть цепко держатся, не поколеблясь,
хотя бесхозно большинство земель.
Мы не хотим сплошного освоенья.
Мир - это сфера. Общество людей -
другая мягко вписанная сфера,
что тихо катится в сцепленье с миром.
Она оформлена и тем прочна.
Размер Земли, конечно, столь же важен,
как и размер Вселенной. Мы - шары.
У всех округлостей один источник.
И мы округлы. Два больших ума.
Все рассуждения идут по кругу,
поэтому Вселенная кругла".

"Ты проповедуешь, что нужно делать,
так как же я обязан поступить?
Идти по кругу?"
"Нет, сопротивляйся
излишним притязаниям земли.
Земле всегда необходим хозяин,
но только фермер, и никто иной.
Я нынче говорю с тобой как фермер.
Займись горой, куда ты отступил.
Живи там, раз ты потерпел крушенье,
и не ступай на рынок ни ногой.
Паши и сей, да разводи скотину.
Но, что б ни вырастил, не вывози.
Кормись, остатки запаши на месте,
спасая почву, чтобы ей не стать
проклятой, неродящей, как железо.
Она взывает к жалости в мольбе.
Я буду, Мелибей, с тобой в союзе.
Обдумаем, как быть, составим план.
Друзья кричат о пятилетних планах.
Прибудь ко мне, и я такой составлю.
Им ход дала Советская Россия.

Чтоб был успех потребны десять лет,
мы, для начала, рассчитаем на пять.
Давай поговорим. Обсудим по частям.
Введём запрет на всякую торговлю.
На горной ферме у себя начнёшь
работать строго под моим началом.
Но вмешиваться буду лишь тогда,
как ты нарушишь план. Работай точно,
на пользу ферме и своей земле,
пока она не станет плодородней.
Потеть - во всю! Вина и масла - чуть!
Я следую за ищущим рассудком
и стал "несоциальным" - как сумел.
Во мне желание и первый импульс -
идти на рынок - я гоню их прочь.
Желанье за желаньем - тоже прочь.
И так - пока выносит мой характер.
Не вписываясь в рынок, вне его,
мы ощущаем, что туда нас тащат.
Фритредерство велит нам торговать.
Свобода сочетается с неволей.
Я думаю, законен ли контроль,
над тем, что продают и покупают.
Представь, что кто-то около меня
и говорит, и мыслит побойчее,
так я обескуражен и молчу.
Неуж он скажет, что мои продукты
и лучше и дешевле как товар?
Нет. Я, не возражая, отъезжаю
туда, где мог бы развязать язык.
По технологии не сопоставишь
продукты мысли и съестной припас.
Припомни лучше песенку с припевом:

Я вовсе не простак.
Я тоже сделал так... -

Когда б я был совсем пустым да праздным,
всех гнал бы прочь и сам бежал от всех.
Ты видишь красоту моих решений:
о страшных революциях молчу,
переворот - всего лишь в одиночку.
Случится революция лишь в том,
что выделимся вместе меж окрестных -
кому нужны торговля и обмен.
Ко мне пришёл юнец, принёс две строчки.
Спросил меня, мол, стоит ли трудиться,
чтоб две прибавить и сложить катрен.
Я эту молодую трепотню
принёс скорее в школу с подозреньем,
не слямзил ли юнец из хвастовства.
Мы собрались для тщательной проверки,
готовые ласкать и строго наказать.
Он был изрядно бит, и тут же скрылся -
как в песне: "Убегай, держись вдали.
Не норови примкнуть к большой команде.
Служи Соединённым Штатам и семье".
(А меж страною и семьёю - колледж!).

Так как же с наша сделка, Мелибей?"

"Возможна, только ты так скор и гонишь,
что за тобой мой разум не поспел.
Сначала лучше доберусь до дома.
За месяц должен напилить столбов
да следом починить всю загородку.
О том и думал. Ты меня отвлёк.
Прервал ход мыслей. Высказал иные.
Но я согласен. Нас не разделить.
Вот дома, сам, и буду разбираться.

Build Soil

A political pastoral

Why Tityrus! But you've forgotten me.
I’m Meliboeus the potato man,
The one you had the talk wit
Hi, you remember,
Here on this very campus years ago.
Hard times have struck me and I'm on the move.
I’ve had to give my interval farm up
For interest, and I've bought a mountain farm
For nothing down, all-out-doors of a place,
All woods and pasture only fit for sheep.
But sheep is what I’m going
into next.
I’m done forever with potato crops
At thirty cents a bushel. Give me sheep.
I know wool's down to seven cents a pound.
But I don't calculate to sell my wool.
I didn't my potatoes. I consumed them.
I’ll dress up in sheep's clothing and eat sheep.
The Muse takes care of you. You live by writing
Your poems on a farm and call that farming.
Oh I don't blame you. I say take life easy.
I should myself, only I don't know how.
But have some pity on us who have to work.
Why don't you use your talents as a writer
To advertise our farms to city buyers,
Or else write something to improve food prices.
Get in a poem toward the next election.
Oh Meliboeus, I have half a mind
To take a writing hand in politics.
Before now poetry has taken notice
Of wars, and what are wars but politics
Transformed from chronic to acute and bloody?
I may be wrong, but Tityrus to me
The times seem revolutionary bad.

The question is whether they've reached a depth
Of desperation that would warrant poetry's
Leaving love's alternations, joy and grief,
The weather's alternations, summer and winter,
Our age-long theme, for the uncertainty
Of judging who is a contemporary liar
Who in particular, when all alike
Get called as much in clashes of ambition.
Life may be tragically bad, and I
Make bold to sing it so, but do I dare
Name names and tell you who by name is wicked?
Whittier's luck with Skipper Ireson* awes me.
Many men's luck with Greatest Washington
(Who sat for Stuart's portrait, but who sat
Equally for the nation's Constitution).
I prefer to sing safely in the realm
Of types, composite and imagined people:
To affirm there is such a thing as evil
Personified, but ask to be excused
From saying on a jury here's the guilty.
I doubt it you're convinced the times are bad.
I keep my eye on Congress, Meliboeus.
They're in the best position of us all
To know if anything is very wrong.
I mean they could be trusted to give the alarm
If earth were thought about to change its axis,
Or a star coming to dilate the sun.
As long as lightly all their live-long sessions,
Like a yard full of school boys out at recess
Before their plays and games were organized,
They yelling mix tag, hide-and-seek, hop-scotch,
And leap frog in each other's way, all's well.
Let newspapers profess to fear the worst!
Nothing's portentous, I am reassured.

Is socialism needed, do you think?

We have it now. For socialism is

An clement in any government.
There's no such thing as socialism pure
Except as an abstraction of the mind.
There's only democratic socialism
Monarchic socialism oligarchic,
The last being what they seem to have in Russia.
You often get it most in monarchy,
Least in democracy. In practice, pure,
I don't know what it would be. No one knows.
I have no doubt like all the loves when
Philosophized together into one-
One sickness of the body and the soul.
Thank God our practice holds the loves apart
Beyond embarrassing self-consciousness
Where natural friends are met, where dogs are kept,
Where women pray with priests. There is no love.
There's only love of men and women, love
Of children, love of friends, of men, of God,
Divine love, human love, parental love,
Roughly discriminated for the rough.

Poetry, itself once more, is back in love.

Pardon the analogy, my Meliboeus,
For sweeping me away. Let's see, where was I?
But don't you think more should be socialized
Than is?
What should you mean by socialized?

Made good for everyone things like inventions-
Made so we all should get the good of them
All, not just great exploiting businesses.

We sometimes only get the bad of them.
In your sense of the word ambition has
Been socialized the first propensity
To be attempted. Greed may well come next.

But the worst one of all to leave uncurbed,
Unsocialized, is ingenuity:
Which for no sordid self-aggrandizement,
For nothing but its own blind satisfaction
(In this it is as much like hate as love)
Works in the dark as much against as for us.
Even while we talk some chemist at Columbia
Is stealthily contriving wool from jute
That when let loose upon the grazing world
Will put ten thousand farmers out of sheep.
Everyone asks for freedom for himself,
The man free love, the business man free trade,
The writer and talker free speech and free press.
Political ambition has been taught,
By being punished back, it is not free:
It must at some point gracefully refrain.
Greed has been taught a little abnegation
And shall be more before we're done with it.
It is just fool enough to think itself
Self-taught. But our brute snarling and lashing taught it.
None shall be as ambitious as he can.
None should be as ingenious as he could,
Not if I had my say. Bounds should be set
To ingenuity for being so cruel
In bringing change unheralded on the unready,

I elect you to put the curb on it.

Were I dictator, I'll tell you what I'd do.

What should you do?
I'd let things take their course
And then I'd claim the credit for the outcome.

You'd make a sort of safety-first dictator.

Don't let the things I say against myself

Betray you into taking sides against me,
Or it might get you into trouble with me.
I’m not afraid to prophesy the future,
And be judged by the outcome, Meliboeus.
Listen and I will take my dearest risk.
We're always too much out or too much in.
At present from a cosmical dilation
We're so much out that the odds are against
Our ever getting inside in again.
But inside in is where we've got to get.
My friends all know I’m interpersonal.
But long before I’m interpersonal
Away 'way down inside I’m personal.
Just so before we're international
We're national and act as nationals.
The colors are kept unmixed on the palette,
Or better on dish plates all around the room,

So the effect when they are mixed on canvas
May seem almost exclusively designed.
Some minds are so confounded intermental
They remind me of pictures on a palette:
'Look at what happened. Surely some God pinxit.
Come look at my significant mud pie.'
It's hard to tell which is the worse abhorrence
Whether it's persons pied or nations pied.

Don't let me seem to say the exchange, the encounter,
May not be the important thing at last.
It well may be. We meet I don't say when
But must bring to the meeting the maturest,
The longest-saved-up, raciest, localest
We have strength of reserve in us to bring.

Tityrus, sometimes I'm perplexed myself
To find the good of commerce. Why should I
Have to sell you my apples and buy yours?

It can't be just to give the robber a chance
To catch them and take toll of them in transit.
Too mean a thought to get much comfort out of.
I figure that like any bandying
Of words or toys, it ministers to health.
It very likely quickens and refines us.

To market 'tis our destiny to go.
But much as in the end we bring for sale there
There is still more we never bring or should bring;
More that should be kept back the soil for instance
In my opinion, though we both know poets
Who fall all over each other to bring soil
And even subsoil and hardpan to market.
To sell the hay off, let alone the soil,
Is an unpardonable sin in farming.
The moral is, make a late start to market.
Let me preach to you, will you Meliboeus?
Preach on. I thought you were already preaching.
But preach and see if I can tell the difference.
Needless to say to you, my argument
Is not to lure the city to the country.
Let those possess the land and only those,
Who love it with a love so strong and stupid
That they may be abused and taken advantage of
And made fun of by business, law and art;
They still hang on. That so much of the earth's
Unoccupied need not make us uneasy.
We don't pretend to complete occupancy.
The world's one globe, human society
Another softer globe that slightly flattened
Rests on the world, and clinging slowly rolls.
We have our own round shape to keep unbroken.
The world's size has no more to do with us
Than has the universe's. We are balls,
We are round from the same source of roundness.
We are both round because the mind is round,

Because all reasoning is in a circle.
At least that's why the universe is round.

If what you're preaching is a line of conduct,
Just what am I supposed to do about it?
Reason in circles?

No, refuse to be
Seduced back to the land by any claim
The land may seem to have on man to use it.
Let none assume to till the land but farmers.
I only speak to you as one of them.
You shall go to your run-out mountain farm,
Poor cast-away of commerce, and so live
That none shall ever see you come to market-
Not for a long long time. Plant, breed, produce,
But what you raise or grow, why feed it out,
Eat it or plow it under where it stands
To build the soil. For what is more accursed
Than an impoverished soil pale and metallic?
What cries more to our kind for sympathy?
I'll make a compact with you, Meliboeus,
To match you deed for deed and plan for plan.
Friends crowd around me with their five year plans
That Soviet Russia has made fashionable.
You come to me and I'll unfold to you
A five year plan I call so, not because
It takes ten years or so to carry out,
Rather because it took five years at least
To think it out. Come close, let us conspire-
In self-restraint, if in restraint of trade.
You will go to your run-out mountain farm
And do what I command you, I take care
To command only what you meant to do
Anyway. That is my style of dictator.
Build soil. Turn the farm in upon itself
Until it can contain itself no more,

But sweating-full, drips wine and oil a little.
I will go to my run-out social mind
And be as unsocial with it as I can.
The thought I have, and my first impulse is
To take to market— I will turn it under.
The thought from that thought—I will turn it under
And so on to the limit of my nature.
We are too much out, and if we won't draw in
We shall be driven in. I was brought up
A state-rights free-trade Democrat. What's that ?
An inconsistency. The state shall be
Laws to itself, it seems, and yet have no
Control of what it sells or what it buys.
Suppose someone comes near me who in rate
Of speech and thinking is so much my better
I am imposed on, silenced and discouraged.
Do I submit to being supplied by him
As the more economical producer,
More wonderful, more beautiful producer?
No. I unostentatiously move off
Far enough for my thought-flow to resume.
Thought product and food product are to me
Nothing compared to the producing of them
I sent you once a song with the refrain:

Let me be the one
To do what is done

My share at least lest I be empty-idle.
Keep off each other and keep each other off.
You see the beauty of my proposal is
It needn't wait on general revolution.
I bid you to a one-man revolution
The only revolution that is coming.
We're too unseparate out among each other
With goods to sell and notions to impart.

A youngster comes to me with half a quatrain
To ask me if I think it worth the pains
Of working out the rest, the other half.
I am brought guaranteed young prattle poems
Made publicly in school, above suspicion
Of plagiarism and help of cheating parents.
We congregate embracing from distrust
As much as love, and too close in to strike
And be so very striking. Steal away
The song says. Steal away and stay away.
Don't join too many gangs. Join few if any.
Join the United States and join the family
But not much in between unless a college.
Is it a bargain, Shepherd Meliboeus?

Probably but you're far too fast and strong
For my mind to keep working in your presence.
I can tell better after I get home,
Better a month from now when cutting posts
Or mending fence it all comes back to me
What I was thinking when you interrupted
My life-train logic. I agree with you
We're too unseparate. And going home
From company means coming to our senses.

(1932) 1936 "A Further Range".

Примечания.

Переводов произведения «Build Soil» на русский язык в интернете обнаружить не удалось.

Пастораль построена Робертом Фростом по модели первой эклоги Виргилия, написанной около 40 года до нашей эры. Имена героев заимствованы у Виргилия. Ведётся диалог двух фермеров по широкому диапазону разных тем, о политике, экономике и сельском хозяйстве. Один из фермеров почти совсем разорён кризисными явлениями в экономике Соединённых Штатов. Другой имеет доходы, помимо своей фермы, поэтому рассуждает смелее и предлагает полуфантастические радикальные решения. Фермеры не слишком образованы, но смело рассуждают о любых проблемах, оба привязаны к земле и страстно мечтают, чтобы она не скудела и способствовала благоденствию фермеров и всей страны.

***Шкипер Айрсон** - герой стихотворения «Skipper Ireson's Ride», в котором рассказывается, как этого неудачливого моряка после кораблекрушения издевательски везут на телеге разъярённые женщины, считая его виновником несчастья. Автор этого стихотворения Джон Уиттьер - John Greenleaf Whittier - (1807 - 1892), поэт, писатель, журналист, редактор New England Weekly Review. Уиттьер, выходец из квакерской среды, был видным неустанным политическим борцом за ликвидацию рабства в Соединённых Штатах.

От одного аспекта к другому

Из них один не уступал другому.
Работали за плату. Пайк был старше:
мотыжил и косил уже полсотни лет,
а Дик был юн и полон школьных правил.
Так, если спорили друг с другом, кто главней,
то спор они вели всегда на равных.

"Твоя тревога не стыкуется с предметом", -
сказал с напором Пайк. А Дик хотел съязвить:
"Твоя тревога по-крестьянски бестолкова".
Но, вместо этого, спросил: "С каким предметом?"

"Вопрос: ведётся ли работа так, как надо.
Взгляни на Доктора - ".
Они на кукурузе
как раз мотыжили последний гон.
Уже затем всё было надобно косить.
Крылатые беспомощные стебли
лежали возле их лодыжек, и не счесть
поскольку тысяч было в каждом акре.
Дик с Пайком всё смотрели вверх,
а Доктор не снимал ноги с панели багги
и выглядел, как главный на земле.
Его хоть выставь на Бредфордском Интервале

в Коннектикуте на виду,
чтоб он стоял там как ориентир.

"Не хочет даже ни на чуть прерваться,
боится, что упустит время", - промолвил Пайк,
заметивший, что Дик всё смотрит поминутно.
И Пайк добавил: "А тебе под стать полоть,
хоть с Доктором мечтаешь поменяться.
Давай-ка покричим, попросим, чтобы дал
скорей себе и людям полный отдых
от этой гонки. Правда, пользы никакой,
и у него пощады не упросишь.
Такого рода люди не поймут, что труд -
простое дело. По ним - он доблесть,
моральный долг, когда храбрец пойдёт в огонь".

Дик попросил быть к Доктору посправедливей:
"Он как-то мне сказал, когда мы шли домой,
что держит ногу на педалях управленья
и ощущает гордость, будто награждён.
Вот ты, мотыжа от реки, шёл мне навстречу.
Теперь возьми свою мотыгу на плечо
и, отдыхая, прошагай весь гон обратно,
заискивая перед грязью лишний раз.
Не явится ли одинаковое чувство?
Ты говоришь, что сам не избегал труда.
Ты предлагал пари, что за день сделал больше,
как делал весь тот срок, что жил".

"Но я ни для кого два гона не мотыжил!"

"Ты делал правильно. В-точь так, как все мы,
при чтении, не так ли, Билл? Закончим строчку -
глаза уводим, отдыхая, через лист
к началу новой и тогда читаем снова.
А был порядок чтения бустрафедон:
сперва вперёд, потом назад. Он не привился".

Пайк с опасением и мрачно проворчал,
как будто уясняя мысли,
изложенные парнем. Пришёл к реке,
демонстративно прекратил работу,
и, будто не заботясь, поймёт ли Дик,
пошёл обратно и продолжил рассужденья:
"Нельзя давать себя поработить,
и очень важно не совсем увязнуть
в заботе зарабатывать на жизнь,
к тому ж мне тошно расправляться с сорняками.
Я предложил бы перемирие с врагом".

"Поосторожней с этой пропагандой.
Когда бы сел я, вместо Доктора, на пост,
так проклял бы тебя за эти мысли".

"Ты рассуждаешь как индейский вождь -
ты будто вновь явившийся Текумсе.
Ты помнишь Шермана*? Что был за генерал!
Второе имя у него Текумсе".
(Пайк даже голосом поддразнивал юнца).
"Ты, видно, хочешь зваться Ричардом Текумсе".

"Нет, передумаю".
"Ты это говоришь,
чтоб уколоть меня и с Доктором сомкнуться,
вы в социальном смысле не чутки,
не то о классах рассуждали бы иначе.
Вы не умеете предвидеть перемен".

"Я говорил, чтоб обсудить его идеи,
как и твои, но, главное, его.
Подозреваю, важность этого всё больше.
Чем дольше вижу весь объём работ,
дела всё хуже - не хочу смотреть".

"Нет, ученик, совсем не так. Не нынче -

когда-нибудь, я покажу, что всё не так.
Сегодня ж я хочу потолковать о солнце.
Май, как и ожидали, нас подвёл.
Чуть лучше был июнь - холодный и дождливый...
Хоть был и самый длинный день в году,
того, что солнце было в небе,
никто и не почувствовал тогда.
Оно явилась, чтобы нам поджечь всё лето.
Потом спасалось, чтобы в лаве не застрять,
когда могли в жару растаять скалы.
Мы ж сдерживали тот его разгул".

"Так это то, что делает наш Доктор;
что нужно было делать в школе мне,
спасая голову от лишних знаний.
В себе да в солнце разум ты признал,
а в Докторе признать его не хочешь".

"Ну, что ж. Давай договоримся и о нём.
Могу признать, он может быть полезен.
Зимой он деловой и очень занят. -
В те дни, когда в упадке** солнце
и каждый никнет перед Рождеством, -
летят снежки, фонарь мигает феерично,
блестят окраска и металл его саней".

Дик, что-то не поняв** и не расслышав,
собрался, было, сразу уточнить
расположенье Солнца в зимнем небе,
но в астрономии и сам был не силён.
Ему ещё полкурса оставалось
пройти зимой. А сверх того,
он расхотел противоречить.

И оба сгорбились затем, чтоб воевать
с речным аллювиальным грунтом.
Весь день звенели острия мотыг,

к их удивленью, повстречавшись с камнем.
Любой из них хотел быть впереди,
покрикивали при удаче,
но становились, соревнуясь, лишь дружней.

У Пайка руки действовали ловче,
с изяществом, и не хотели уставать.
И Дик признал: "Работаешь ты мудро,
даёшь мне ценные уроки, Билл.
Я у тебя учусь раздумывать о солнце.
Ты эту тему хорошо мне преподал.
Оно дарит нам лето и сбегает,
не разглядев, чем мы, благодаря ему,
обзавелись. Ему не надобно награды.
Оно стаёт к благодарителям спиной,
не хочет, чтоб его считали богом.
Ему вполне достаточно того,
как кланялись ему в Перу и персы...
Достаточно ли я уже сказал,
чтоб выразить тебе моё почтенье?"

"Вполне", - ответил мало что читавший Пайк.
"Так каждый год нам нужен Санта Клаус,
за кем скрываются на деле мать с отцом

с подарками на Рождество, чтоб благодарность
летела в адрес подставного добряка.
И даже он всегда, на всякий случай,
сбегает сквозь каминную трубу.
Его исландский адрес нам известен:
Живёт на Гекле. Можно написать,
но говорят он не читает писем.
А Санта Клаус нужен и, к счастью, даже есть".

"О нём я знаю, даже склонен верить", -
ответил Дик, услышав речи Пайка,
кому неведом был ни Милтон, ни Шекспир.

From Plane to Plane

Neither of them was better than the other
They both were hired. And although Pike had the advantage
Of having hoed and mowed for fifty years,
Dick had of being fresh and full of college.
So if they fought about equality
It was on an equality they fought.

“Your trouble is not sticking to the subject,”
Pike said with temper. And Dick longed to say,
“Your trouble is bucolic lack of logic,”
But all he did say was, “What is the subject?”

“It’s whether these professions really work.
Now take the Doctor - “

They were giving corn
A final going over with the hoe

Before they turned from everything to hay
The wavy upflung pennons of the corn
Were loose all round their legs - you couldn't say
How many thousand of them in an acre.
Every time Dick or Pike looked up, the Doctor
With one foot on the dashboard of his buggy
Was still n sight like someone to depend on.
Nowhere but on the Bradford Interval
By the Connecticut could anyone
Have stayed in sight so long as an example.

"Taking his own sweet time as if to show
He don't mind having lost a case," Pike said;
And when he caught Dick looking once too often,
"Hoeing's too much like work for Dick," he added.
"Dick wishes he could swap jobs with the Doctor.
Let's holler and ask him if he won't prescribe
For all humanity a complete rest
From all this wagery. But what's the use
Of asking any sympathy from him?
That class of people don't know what work is -
More than they know what courage is that claim
The moral kind's as brave as facing bullets."

Dick told him to be fairer to the Doctor:
"He looks to me like going home successful,
Full of success, with that foot on the dashboard,
As a small self-conferred reward of virtue.
I get you when you hoe out to the river,
Then pick your hoe up, maybe shoulder it,
And take your walk of recreation back
To curry favor with the dirt once more.
Isn't it pretty much the same idea?
You said yourself you weren't avoiding work
You'd bet you got more work done in a day,
Or at least in a lifetime, by that method."

"I wouldn't hoe both ways for anybody!"

“And right you re. You do the way we do
In reading, don’t you Bill? - at every line end
Pick up your eyes and carry them back idle
Across the page to where we started from.
The other way of reading back and forth,
Known as boustrophedon, was found too awkward.”

Pike grunted rather grimly with misgiving
As being thus expounded to himself
And made of by a boy; then having reached
The river bank, quit work defiantly,
As if he didn’t care who understood him,
And started his march back again discoursing:
“A man has got to keep his extrication.
The important thing is not to get bogged down
In what he has to do to earn a living.
What’s more, I hate to keep afflicting weeds.
I like to give my enemies a truce.”

“Be careful how you use your influence
If I decided to become a doctor.
You’d be to blame for furnishing the reasons.”

“I though you meant to be an Indian Chief -
You said the second coming of Tecumseh.
Remember how you envied General Sherman*.
William Tecumseh Sherman. Why Tecumseh?”
(He tried to imitate Dick’s tone of voice.)
“You wished your middle name had been Tecumseh.”

“I think I’ll change my mind.”

“You’re saying that
To bother me by siding with the Doctor.
You’ve got no social conscience, as they say,
Or you’d feel differently about the classes.
You can’t claim you’re a social visionary.”

"I'm saying it to argue his idea's
The same as your idea, only more so.
And I suspect it may be more and more so
The further up the scale of work you go.
You could do worse than boost me up to see."

"It isn't just the same, and someday, schoolboy,
I'll show you why it isn't — not today.
Today I want to talk about the sun.
May as expected was a disappointment,
And June was not much better, cold and rainy.
The sun then had its longest day in heaven
But no one from the feeling would have guessed
His presence was particularly there.
He only stayed to set the summer on fire,
Then fled for fear of getting stuck in lava
In case the rocks should melt and run again.
Everyone has to keep his extrication."

"That's what the Doctor is doing, keeping his.
That's what I have to do in school, keep mine
From knowing more than I know how to think with.
You see it in yourself and in the sun;
Yet you refuse to see it in the Doctor."

"All right, let's harmonize about the Doctor.
He may be some good, in a manner of speaking.
I own he does look busy when the sun
Is in the sign** of Sickness in the winter
And everybody's being sick for Christmas.
Then's when his Morgan lights out throwing snowballs
Behind her at the dashboard of his pung."

"But Cygnus** isn't in the Zodiac,"
Dick longed to say, but wasn't sure enough
Of is astronomy. (He'd have to take
A half course in it next year.) And besides,
Why give the controversy a relapse?

They were both bent on scuffling up
Alluvium so pure that when a blade
To their surprise rang once on stone all day
Each tried to be the first at getting in
A superstitious cry for farmer's luck -
A rivalry that made them both feel kinder.

And so to let Pike seem to have the palm
With grace and not too formal a surrender
Dick said, " You've been a lesson in work wisdom
To work with, Bill. But you won't have my thanks.
I like to think the sun's like you in that -
Since you bring up the subject of the sun.
This would be my interpretation of him.
He bestows summer on us and escapes
Before realizing what we have
To thank him for. He doesn't want our thanks.
He likes to turn his back on gratitude
And avoid being worshiped as a god.
Our worship was a thing he had too much of
In the old days in Persia and Peru.
Shall I go on or have I said enough -
To convey my respect for your position?"

"I guess so," Pike said, innocent of Milton.
"That's where I reckon Santa Claus comes in -
To be our parents' pseudonymity
In Christmas giving, so that they can escape
The thanks and let him catch it as a scapegoat.
And even he, you'll notice dodges off
Up chimney to avoid the worst of it.
We all know his address, Mount Mecla, Iceland.
So anyone can write to him who wants to;
Though they do say he doesn't open letters.
A Santa Claus was needed. And there is one."

"So I have heard and do in part believe it."
Dick said, to old Pike innocent of Shakespeare.
(1948) 1949 "An Afterword" from "Comlete Poems".

Примечания.

В интернете не обнаружено других переводов стихотворения «From Plane to Plane» на русский язык. В этом стихотворении Роберт Фрост излагает диалог двух наёмных сельскохозяйственных рабочих на кукурузном поле. Один из них Билл Пайк - пожилой человек, другой Дик - ещё не закончил курс обучения в школе. Они расчищают мотыгами рядки кукурузы перед уборкой урожая. Тема беседы - отношение к работе и к жизни. В качестве примера и объекта обсуждения ими выбран третий член их бригады: механизатор, который косит стебли, они называют его Доктором.

***Генерал Уильям Текумсе Шерман (1820-1891)**. Его отец был восхищён индейским вождём Текумсе, поэтому дал сыну такое второе имя.

**Пайк сказал, характеризуя зимнее солнце, "the sign of Sickness"; Дику послышалось - "созвездие Лебедя" - "Cygnus".

Нью-Хэмпшир, первая часть

1-214

Однажды леди с Юга мне сказала
(Вы не поверите, но я не лгу.):
"В моей семье не принято трудиться
и торговать"... - А я не соглашусь,
что труд - позор. Случалось, звал на помощь.

Бывало сам работал на других.
Уверен, что нормальная торговля -
не стыд для человека и страны.

Мне повстречался гость из Арканзаса,
хваливший этот штат за красоту,
алмазы, яблоки... "А как для рынка?
Достаточно ли есть у вас добра?" -
спросил я у него. "О да, конечно!" -
Наш проводник стелил ему постель.
Был вечер. Всех нас вёз удобный Пульман.

В другой раз встретился калифорниец.
Он славил свой благословенный штат
и климат, где не мрут естественною смертью.
Но Комитеты Бдительности там,
оправдывая человечность штата,
заботятся об устроенье кладбищ.
"Пошли бы по маршрутам Стефанссона*,
сравнили б климат, - я пробормотал, -
у вас - с арктическими островами".

Я повстречал поэта в Алабаме,
фанатика с изжаждавшим нутром,
с порывами пивного вдохновенья,
он с полной неуклюжестью, сердясь,
хотел добиться от меня протеста
(я думаю, в стихах) на Volstead Act**,
но даже не поднёс при том мне выпить.
Я стал просить друзей его смирить,
а то он всё мечтал продать мне пойло.

В Нью-Хэмпшире такое не случится.

Мне здесь известен только лишь один
купец, запятнанный своей торговлей.
Был в Калифорнии, сбывал товар.

Теперь, когда вернулся, так стыдится.
Мансарду он затейливо покрыл,
поставил сверху башенки с шарами,
устроил свой Стамбул в глухом лесу.
До станции там выйдет миль с десяток.
И будто больше нет уже надежд.
И будто получил всё то, что можно...
Его я там увидел вечерком
у двери незакрытого сарая -
был как актёр в одной из мрачных сцен.
Седой да порыжелою щетиной
его лицо покрылось до глазниц.
Но я сумел признать в нём друга детства.
с кем прежде в Брайтон ездили вдвоём.
Там, где осел, он фермы не завёл,
и дом его, среди чужих лачужек,
был будто магазин в большом селе.
Он был уже богат, я ж был бродягой,
и напрямую задал свой вопрос,
где он бывал и чем там занимался.
Как он достиг, что вдруг разбогател?
Сказал: был антикваром в Сан-Франциско,
хоть это дело еле выносил.
("Припомнишь, так в гробу перевернёшься").

В Нью-Хэмпшире подобное найдёшь.
Образчики торчат почти повсюду,
но штат не слишком-то их хочет сбыть.

Тут есть свой "президент". (Звать Кошельком -
чтоб ни было, поможет вам во всём.
При случае даст шанс в борьбе с властями)...
Был Дэниэл Уэбстер*** - конгрессмен.
Не просто был, а действовал, как нужно.
Не зря он выбрал Дартмутский Колледж****.

Нью-Хэмпшир - старый штат. В нём есть семейство,
которое сочло, что здесь живёт

с времён до появления колоний,
до первооткрывателей земли.
Джон Смит***** заметил их однажды с судна,
рыбачивших в тот день на берегу
и мирно ноги свесивших с причала
на мелководье перед стайкой островов.
Они не относились к краснокожим,
скорее были белыми, из тех,
что поставляли жён сынам Адама.
Но странно, что они возникли там,
в столь ранний исторический период
лет за сто до английских моряков.
Джон Смит, как ни печально, не разведал,
Что-то за люд, кто выстроил причал
и как их звали. - (Я узнал их имя.
И в Ноттингеме это имя чтут).
Они не относились к пуританам.
Для них борьба безгрешного с дурным
не превышала важность рыбной ловли,
они не чтили воскресений и суббот,
считали, что охотиться в глубинах
важней, чем лезть в дела других людей...

Нью-Хэмпшир ценит всякие новинки.

Сюда недавно заявился новый
активный реформатор****** всех систем.
Его должны признать авторитетом
артисты, что вступают в ремесло,
немедля перед тем, как их там примут;
и юноши, что кончили колледж.
Но я его тестировать не в силах.

И есть другой, не знаю, как зовут, -
филадельфиец. Он бывает ежегодно
с цыплятами изысканных пород.
Он хочет преподать нам ценный опыт,

мол, птица лучше крепнет, одичав,
под наблюденьем ястребов с орлами.
О суссексах******* такое Геррик пел.
О доркингах******* писал такое Чосер.

В Нью-Хэмпшире и золото нашлось.
Уже не новость. Как-то предлагали
мне по дороге в город Берлин землю
с отрытою золотоносной шахтой,
но там был некоммерческий запас:
хватало на венчальные колечки
да, может быть, на брошки для семьи.
Такое вот невинное богатство.
Один мой сын, копаясь между скал,
близ Андовера или Канаана,
нашёл среди других камней берилл
и, между прочим, с радиевым следом.
Следок был слабый, просто след, как след.
Совсем не для коммерческой шумихи.
Должно быть, нет в Нью-Хэмпшире добра -
ни золота, ни радия - для сбыта.

Но сыщется другое кое-что.
Вот в Колбруке есть ведьма в старом стиле.
(Я раньше встретил ведьму только раз.
Был задан в Бостоне хрустальный ужин:
четыре свечки, четверо гостей
и ведьма - юная (по новой моде).
Могла ответить на любой вопрос,
читала тексты, скрытые в коробках,
но - диво - в металлических - легко,
и с сильным затрудненьем - в деревянных.
В итоге мир казался полным тайн.
Учёные психологи вникали.
Муж этой леди, сам из богачей,
считался в Гарварде немалым боссом).

Был в Салеме нью-хэмпширский притон -
"Клуб Белокровных" - озорная банда,
которая любила в поздний час
врываться в белом и в дурацких шапках
туда, где чуяла нечистый дух.
И кто-то там шёл в рейд, как шкипер Айрсон********.

Там многое случалось наблюдать!

Земли в Нью-Хэмпшире вполне хватает,
и можно подобрать на всякий вкус.
Притом совсем не сложно обмануться,
ведь качество всегда важней, чем площадь.
Хотя купить там ферму не легко,
мне требовалось горное жилище.
Я взял скорее силой, чем купил.

Владелец мне попался возле дома,
весной, с граблями. Я ему сказал:
"Съезжайте с фермы. Мне она по нраву".
"А мне в какой-такой пуститься путь?"
"Я предложу вам ферму рядом с нами".
"А чем она нехороша для вас?"
"Но ваша лучше!" - Так оно и было.

Раз купорос и арсенат свинца
способны портить завязь,- в этом штате
опрыскиванья яблонь не ведут.
Взамен те нас дарят прекрасным сидром.
А вот до лоз, что виснут, как лассо,
со всех берёз в саду - там не добраться.

Штат производит ценное добро,
металлы, камни, всяческие книги.
Почти что всё легко находит сбыт,
за исключением литературы.
Конкретно глянув и всегда следя

за действием и состояньем рынка,
заметишь изобилие стихов,
превосходящее любые нормы.
Поэты там активней всех дельцов,
но их товары не находят спроса.

Нью-Хэмпшир - в паре самых лучших штатов.
С ним наряду, второй такой - Вермонт.
Они - напарники в одной упряжке
в былых походах. Каждый - будто клин
на карте, рядышком с таким же клином.
Валетом: острый к толстому концу.
И все их очертания похожи.
У них всё вместе: длани и мозги,
хоть шиворот на выворот сомкнулись.

Река Коннектикут у нас полна
форелевых садков вблизи Канады,
а после отделяет штат Вермонт.
О эти восхитительные штаты!
Там городки комически малы:
Лост Нейшен, Банджи, Мадди Бу и Поплин,
Стил Корнерс. (Он так назван потому,
что в нём за каждым перекрёстком чаща, -
он малолюден, потому и тих).
Есть городок, чьё имя появилось,
когда включили раз киножурнал:
Франкония.- Ночь выборов.- Боролись
два депутата, чтоб войти в конгресс.
Тот демократ, другой республиканец.
Но демократам страшно не везло,
Взыграли нервы. Им был нужен отдых.
За них был Истон.(Лишь две сотни голосов).
Зато республиканцы ликовали.
С печалью смешивался громкий смех.
Смех крупных городов над городками.
Смех разбирал, лишь стоило сравнить:

Нью-Йорк (пять миллионов) и Манчестер;
тот (семь десятков тысяч человек) -
и Литтлтон (где было лишь четыре);
а Литтлтон - с Франконией (семь сотен).
Франкония могла всю ночь смеяться
над Истоном. Но он бы тоже мог
вскричать надменно: "Боже мой!" - смеясь
над Банджи или всяким городком
с названием, но вовсе без народа.

Но то, что говорю здесь про Нью-Хэмпшир,
я мог бы повторить и про Вермонт.
У них одно лишь непохоже: горы.
В Вермонте параллельные хребты,
в Нью-Хемпшире - кручёная катушка.

New Hampshire

1-214
I met a lady frm the South who said
(You won't believe she said it, but she said it):
"None of my family ever worked, or had
A thing to sell." I don't suppose the work
Much matters. You may work for all of me.
I've seen the time I've had to work myself.
The having anything to sell is what
Is the disgrace in man or state or nation.

I met a traveler from Arkansas
Who boasted of his state as beautiful
For diamonds and apples. "Diamonds
And apples in commercial quantities?"

I asked him, on my guard. "Oh, yes," he answered,
Off his. The time was evening in the Pullman.
"I see the porter's made your bed," I told him.

I met a Californian who would
Talk California - a state so blessed,
He said, in climate, none had ever died there
A natural death, and Vigilance Committees
Had had to organize to stock the graveyards
And vindicate the state's humanity.
"Just the way Stefansson* runs on," I murmured,
"About the British Arctic. That's what comes
Of being in the market with a climate."

I met a poet from another state,
A zealot full of fluid inspiration,
Who in the name of fluid inspiration,
But in the best style of bad salesmanship,
Angrily tried to male me write a protest
(In verse I think) against the Volstead Act**.
He didn't even offer me a drink
Until I asked for one to steady him.
This is called having an idea to sell.

It never could have happened in New Hampshire.

The only person really soiled with trade
I ever stumbled on in old New Hampshire
Was someone who had just come back ashamed
From selling things in California.
He'd built a noble mansard roof with balls
On turrets, like Constantinople, deep
In woods some ten miles from a railroad station,
As if to put forever out of mind
The hope of being, as we say, received.
I found him standing at the close of day
Inside the threshold of his open barn,

Like a lone actor on a gloomy stage -
And recognized him, through the iron gray
In which his face was muffled to the eyes,
As an old boyhood friend, and once indeed
A drover with me on the road to Brighton.
His farm was "grounds," and not a farm at all;
His house among the local sheds and shanties
Rose like a factor's at a trading station.
And be was rich, and I was still a rascal.
I couldn't keep from asking impolitely,
Where bad he been and what had he been doing?
How did he get so? (Rich was understood.)
In dealing in "old rags" in San Francisco.
Ob, it was terrible as well could be.
We both of us turned over in our graves.

Just specimens is all New Hampshire has,
One each of everything as in a showcase,
Which naturally she doesn't care to sell.

She had one President. (Pronounce him Purse,
And make the most of it for better or worse.
He's your one chance to score against the state.)
She had one Daniel Webster. He was all
The Daniel Webster ever was or shall be.
She had the Dartmouth' needed to produce him.

I call her old. She has one family
Whose claim is good to being settled here
Before the era of colonization,
And before that of exploration even.
John Smith remarked them as be coasted by,
Dangling their legs and fishing off a wharf
At the Isles of Shoals, and satisfied himself
They weren't Red Indians but veritable
Pre-primitives of the white race, dawn people,
Like those who furnished Adam's sons with wives;

However uninnocent they may have been
In being there so early in our history.
They'd been there then a hundred years or more.
Pity he didn't ask what they were up to
At that date with a wharf already built,
And take their name. They've since told me their name -
Today an honored one in Nottingham.
As for what they were up to more than fishing -
Suppose they weren't behaving Puritanly,
The hour bad not yet struck for being good,
Mankind had not yet gone on the Sabbatical.
It became an explorer of the deep
Not to explore too deep in others' business.

Did you but know of him, New Hampshire has
One real reformer******* who would change the world
So it would be accepted by two classes,
Artists the minute they set up as artists,
Before, that is, they are themselves accepted,
And boys the minute they get out of college.
I can't help thinking those are tests to go by.

And she has one I don't know what to call him,
Who comes from Philadelphia every year
With a great flock of chickens of rare breeds
He wants to give the educational
Advantages of growing almost wild
Under the watchful eye of hawk and eagle
Dorkings******* because they're spoken of by Chaucer,
Sussex******* because they're spoken of by Herrick.

She has a touch of gold. New Hampshire gold -
You may have heard of it. I had a farm
Offered me not long since up Berlin way
With a mine on it that was worked for gold;
But not gold in commercial quantities,
Just enough gold to make the engagement rings

HILDRETH HALL,
DERRY, N. H.

And marriage rings of those who owned the farm.
What gold more innocent could one have asked for?
One of my children ranging after rocks
Lately brought home from Andover or Canaan
A specimen of beryl with a trace
Of radium. I know with radium
The trace would have to be the merest trace
To be below the threshold of commercial;
But trust New Hampshire not to have enough
Of radium or anything to sell.

A specimen of everything, I said.
She has one witch - old style. She lives in Colebrook.
(The only other witch I ever met
Was lately at a cut-glass dinner in Boston.
There were four candles and four people present.
The witch was young, and beautiful (new style),
And open-minded. She was free to question
Her gift for reading letters locked in boxes.
Why was it so much greater when the boxes
Were metal than it was when they were wooden?
It made the world seem so mysterious.
The S'ciety for Psychical Research
Was cognizant. Her husband was worth millions.
I think he owned some shares in Harvard College.)

New Hampshire used to have at Salem
A company we called the White Corpuscles,
Whose duty was at any hour of night
To rush in sheets and fool's caps where they smelled
A thing the least bit doubtfully perscented
And give someone the Skipper Ireson's Ride********.

One each of everything as in a showcase.

More than enough land for a specimen
You'll say she has, but there there enters in
Something else to protect her from herself.
There quality makes up for quantity.

Not even New Hampshire farms are much for sale.
The farm I made my home on in the mountains
I had to take by force rather than buy.

I caught the owner outdoors by himself
Raking.up after winter, and I said,
“I’m going to put you off this farm: I want it."
“Where are you going to put me? In the road?”
“I’m going to put you on the farm next to it.”
“Why won't the farm next to it do for you?"
"I like this better." It was really better.

Apples? New Hampshire has them, but unsprayed,
With no suspicion in stern end or blossom end
Of vitriol or arsenate of lead,
And so not good for anything but cider.
Her unpruned grapes are flung like lariats
Far up the birches out of reach of man.

A state producing precious metals, stones,
And—writing; none of these except perhaps
The precious literature in quantity
Or quality to worry the producer
About disposing of it. Do you know,
Considering the market, there are more
Poems produced than any other thing?
No wonder poets sometimes have to seem
So much more businesslike than businessmen.
Their wares are so much harder to get rid of.

She's one of the two best states in the Union.
Vermont's the other. And the two have been
Yokefellows in the sap yoke from of old
In many Marches. And they lie like wedges,
Thick end to thin end and thin end to thick end,
And are a figure of the way the strong
Of mind and strong of arm should fit together,

One thick where one is thin and vice versa.

New Hampshire raises the Connecticut

In a trout hatchery near Canada,
But soon divides the river with Vermont.
Both are delightful states for their absurdly
Small towns - Lost Nation, Bungey, Muddy Boo,
Poplin, Still Corners (so called not because
The place is silent all day long, nor yet
Because it boasts a whisky still - because
It set out once to be a city and still
Is only corners, crossroads in a wood).
And I remember one whose name appeared
Between the pictures on a movie screen
Election night once in Franconia,
When everything had gone Republican
And Democrats were sore in need of comfort:
Easton goes Democratic, Wilson 4
Hughes 2. And everybody to the saddest
Laughed the loud laugh the big laugh at the little.
New York (five million) laughs at Manchester,
Manchester (sixty or seventy thousand) laughs
At Littleton (four thousand), Littleton
Laughs at Franconia (seven hundred), and
Franconia laughs, I fear - -did laugh that night -
At Easton. What has Easton left to laugh at,
And like the actress exclaim "Oh, my God" at?
There's Bungey; and for Bungey there are towns,
Whole townships named but without population.

Anything I can say about New Hampshire
Will serve almost as well about Vermont,
Excepting that they differ in their mountains.
The Vermont mountains stretch extended straight;
New Hampshire mountains Curl up in a coil.

1923 "New Hampshire"

Примечания.

***William (Viljalmur) Stefansson**, по прозвищу "Stef" - (1879-1962) - знаменитый исследователь Арктики и этнограф, переживший множество приключений, удач и трагедий, в, частности, пытавшийся присоединить российский остров Врангеля к канадским или британским владениям.

****Volstead Act** - названный по имени одного из конгрессменов закон, действовавший с 1919 по 1933 год о запрете продаж в ресторанах и кафе алкогольных напитков крепостью выше половины градуса.

*****Дэниэл Уэбстер** (1782-1852) - дважды государственный секретарь (при президентах Филморе и У.Харрисоне); трижды претендовал на пост президента; был многолетним членом палаты представителей и сената от Нью-Хэмпшира и Массачусеттса; считался блестящим оратором; был в оппозиции против демократов и Эндрю Джексона; выступал от лица вигов и др.

******Дартмутский Колледж** - прославленный университет в городе Хановер, штат Нью-Хэмпшир.

*******Джон Смит** (1580-1631) - английский писатель, моряк; вояка, переживший массу опасностей и приключений. Один из основателей первого английского поселения в Виргинии. Именно ему принадлежит рассказ о встрече с индейской принцессой Пакахонтас.

********"Реформатора"**, которого имел в виду Роберт Фрост, поэт не назвал по имени.

*********Доркинги и суссексы** (иначе сассексы) - породы домашних кур.

**********Говоря о рейде **шкипера Айрсона**, Роберт Фрост имеет в виду позорную расправу с неугодными лицами, которых демонстративно провозили по улицам в телеге или тачке.

Нью-Хэмпшир, вторая часть

215 - 413

Добравшись до нью-хэмпширских высот,
теперь сознаюсь, как меня смутило
что Эмерсон* сказал про этот штат:
"Бог, насмехаясь над прекрасным краем,
там поселил совсем ничтожный люд".
А в Массачусеттсе сказала дама,
что дублинская** дача ей плоха
и весь Нью-Хэмпшир тоже не пригоден.

Когда спросил, чем этот штат ей плох,
ответила, что там одни бедняги.
Опять её спросил, в чём их беда,
сказала: "Гляньте в собственные книги".
Как автор я могу и впрямь признать,
что многие из этих книг критичны,
но я не обвиняю целый штат
и нацию во всём её составе.
Могу сказать, что все мои труды -
защита окружающей среды.
Отказываюсь привыкать хоть малость,
каков бы ни был неприятный сдвиг
в температурах, влажности и в почвах.
Я тщательно болезненно слежу
за всеми переменами в природе.
Учёл, где я; кто я; что мне под стать,
раз взялся обо всём писать.
Мне вдосталь всяческих ночных терзаний.
Молюсь, как Марло***. Взял с него пример:
"О, Господи! Здесь Ад, но я снаружи".
Мне жаль Ирландию, Россию, Самоа.
Британию, Италию и Францию - чуть меньше.
Романы я в Нью-Хэмпшире писал,
но целил зачастую не в Нью-Хэмпшир.
Покинув Массачусеттс год назад,
за пару дней хотел я сделать выбор:
Коннектикут, Нью-Йорк или Вермонт,
Род-Айленд или, может быть, Нью-Хэмпшир?
Где дальше жить? Нью-Хэмпшир, тут как тут,
лежал за самой близкою границей.
Я не имел иллюзий в голове,
что там я отыщу людей получше,
чем я оставил позади себя.
Я не надеялся. - Но эти люди были.
Я в Массачусеттсе таких не знал,
как Бартлетт, что из Рэймонда** (теперь он в Колорадо);
как Гэй из Аткинсона**; Линч из Вифлеема**;

как Холл, что из Уиндхэма**; как Харрис, что из Дерри**.

Для массачусеттцев с давнишних пор
нью-хэмпширский народ - предмет насмешек,
бедняги из прекраснейшей земли.
Не знаю, что сказать об этих людях.
В искусствах удалось им преуспеть.
Могло быть хуже. Русского романа
в Америке никто б не написал,
поскольку нет такой ужасной жизни.
Но ущипнёт - так слышится протест.
Тогда литература оживает.
И всё же эта боль невелика,
и нет большой причины для страданья.
Так местным романистам не суметь
представить свету новых Достоевских, -
рисуя процветанье и комфорт.
Тут только выхлоп пара, а не горе.
В России у руля другой режим
и в жизни коренные перемены.
И, если здравые, тогда не грех
сказать, пусть прочно держит оборону.
В ответ ей: "Поллианна**** или смерть!".
Нам говорят про новый век свободы.
Пусть так. Но в государстве не создашь
литературы, где бы уживались
и гнев, и невстревоженный покой.

Изображу насколько мы разумны.
Здесь есть Уоррен, фермер, мой сосед.
Его коняга вдруг остановился
передо мной при встрече на пути.
Сосед, хотевший, видно, пообщаться,
сказал от недостатка лучших тем:
"Как выли гончие на Музилоке****?
Они напомнили мне прежний шум,
когда позорили викторианцев,

а Брайан***** этого не осознал,
став выше партий и примкнувши к хору.
С викторианством, как я убеждён,
был очень тесно связан Джон Л.Дарвин*****".
Я помахал соседу и коню.

Когда был разорён один знакомец,
то сам на ферме подпалил свой дом
и умудрился получить страховку,
а деньги все извёл на телескоп,
поскольку с детства просто бредил небом,
хотел глазами инопланетян
представить, где в пространстве наше место.

Когда б я выбирал, кого вздымать:
народ, не то возвышенные горы,
я выбрал бы возвышенные горы.
В Нью-Хэмпшире меня всегда гнетёт,
что горы здесь не поражают ростом.
Не думал так, стал думать лишь потом,
когда разочарованно поднялся
и стал оценивать, каков мой вид,
когда я сверху. Кто нам узаконит,
какая высота - уже гора,
пусть здесь, в Нью-Хэмпшире, и где угодно.
Какую силу обрету в себе,
когда я, грозно сотрясая горы,
смогу поднять их к утренней звезде?
Не съездить ли, чтоб это сделать, в Альпы?
Не углядеть ли этакий момент
в высоких облаках, где тают пики
на фоне мизерного бытия,
где Линкольн с Лафайетом и Свободой?
Увижу, глядя вверх, как высоко,
взлетел бы взрыв над низменной основой.
Но вряд ли б что взнесло меня на трон
моих чудных духовных вожделений.

И виден был трагичный прецедент
на здешних картах древнего рельефа.
Здесь горы были больше высотой -
взамен пяти, по десять тысяч футов.
У них была жестокая судьба,
пять тысяч футов - это слишком мало.
Я никогда не сочинял идей
об улучшении людской породы,
зато всегда был очень плодовит,
планируя в мечтах, и днём, и ночью,
как приподнять вершины снежных гор,
чтоб сверху, где небесный кругозор,
студёный воздух заливал простор,
где б иней, вместо рос, блестел, как звёзды.

Чем становлюсь пристрастнее к среде,
тем чаще норовлю забраться в горы.
Нас вёл на кручу дюжий проводник.
Он снял замок, включая механизм.
Как длинная рука, вскочила штанга,
сломавшая ему спинной хребет.
Он будто заплясал, прощаясь с жизнью.
Пошла неразбериха и ругня.
Когда его поволокло зигзагом,
мы, без сомненья, слышали слова -
вблизи от нас: "Подъёмник был в порядке.
Проклятие! Ведь сам его собрал".

В нью-хэмпширских горах упасть нетрудно,
и скалолазы тут не слишком-то ловки,
но в целом этот штат благополучен.

В Нью-Йорке у меня был разговор
о сексуальном воспитанье в школе.
Под градом современнейших идей
меня там понуждали сделать выбор:
"Кем хочешь стать: дрянцом или ханжой,

начнёшь мяукать или будешь гадить?" -
"Меж этих пиков я не должен выбирать".-
"Нет, ты обязан выбрать, кем ты станешь!"
Но я б не стал чистюлей и ханжой.
Знал человека с острою секирой,
пошедшего войной на целый лес,
но сердце дрогнуло - топор он бросил
и, вспомня Мэттью Арнольда, бежал:
"Природа зла, а людям кровь отвратна,
и нужен нам спасительный приют.
Припомните Бирнамский лес. Он - близок!"
Его страшило грозное движенье.
Он выказал себя как дендрофоб
и отправлял стволы на пилораму
для превращенья в штабеля досок.
Он знал, где прекращается природа,
где настаёт хозяйский интерес.
Он здраво говорил и строго мыслил,
не отходя от этого в мечтах.
То стало чистым Мэттью Арнольд-измом
и образцом владения собой,
"не странствуя окольными путями"
и "смирно севши на духовный трон" -
в придачу с осужденьем новой моды
святого почитания лесов...
Как нынче, так Ахаз******** грешил когда-то,
служа богам среди зелёных рощ...
Здесь, в миле от меня, был чёрный камень
и столб - горелый, вымытый дождём.
Здесь рощи тоже храмами служили,
и от Ахаза мы недалеки.
Что создано природой - вряд ли свято,
что свято - то особый разговор,
но прежде, чем нам в этом разобраться,
скажу, что от природы не бегу
и стать дрянцом я вовсе не хотел бы.
Кто ленится трудиться сообща,

когда не может что-то сделать, ищет
какой-то довод, хочет, чтоб слова
звучали громче, чем его поступки.
На то порой настраивает век:
кто скажет, как предстать хорошим греком?
Но нынче задают другой вопрос:
"Кем должен стать - ханжою или дрянью?"
Что ж, если выбирать одно из двух,
в нью-хемпширские фермеры вступаю
за несколько каких-то тысяч в год
(их мне пришлёт издатель из Нью-Йорка).
Какой успокоительный итог.
И как приятно думать про Нью-Хэмпшир.
Но место, где сейчас живу - Вермонт.

New Hampshire

215 - 413
I had been coming to New Hampshire mountains.
And here I am and what am I to say?
Here first my theme becomes embarrassing.
Emerson said, "The God who made New Hampshire
Taunted the lofty land with little men."
Another Massachusetts poet said,
"I go no more to summer in New Hampshire.
I've given up my summer place in Dublin**."
But when I asked to know what ailed New Hampshire,
She said she couldn't stand the people in it,
The little men (it's Massachusetts speaking).
And when I asked to know what ailed the people,
She said, "Go read your own books and find out."
I may as well confess myself the author

Of several books against the world in general.
To take them as against a special state
Or even nation's to restrict my meaning.
I'm what is called a sensibilitist,
Or otherwise an environmentalist.
I refuse to adapt myself a mite
To any change from hot to cold, from wet
To dry, from poor to rich, or back again.
I make a virtue of my suffering
From nearly everything that goes on round me.
In other words, I know wherever I am,
Being the creature of literature I am,
I shall not lack for pain to keep me awake.
Kit Marlowe*** taught me how to say my prayers:
"Why, this is Hell, nor am I out of it."
Samoa, Russia, Ireland I complain of,
No less than England, France, and Italy.
Because I wrote my novels in New Hampshire
Is no proof that I aimed them at New Hampshire.
When I left Massachusetts years ago
Between two days, the reason why I sought
New Hampshire, not Connecticut,
Rhode Island, New York, or Vermont was this:
Where I was living then, New Hampshire offered
The nearest boundary to escape across.
I hadn't an illusion in my handbag
About the people being better there
Than those I left behind. I thought they weren't.
I thought they couldn't be. And yet they were.
I'd sure had no such friends in Massachusetts
As Hall of Windham**, Gay of Atkinson**,
Bartlett of Raymond** (now of Colorado),
Harris of Derry**, and Lynch of Bethlehem**.

The glorious bards of Massachusetts seem
To want to make New Hampshire people over.
They taunt the lofty land with little men.

I don't know what to say about the people.
For art's sake one could almost wish them worse
Rather than better. How are we to write
The Russian novel in America
As long as life goes so unterribly?
There is the pinch from which our only outcry
In literature to date is heard to come.
We get what little misery we can
Out of not having cause for misery.
It makes the guild of novel writers sick
To be expected to be Dostoievskis
On nothing worse than too much luck and comfort.
This is not sorrow, though; it's just the vapors,
And recognized as such in Russia itself
Under the new regime, and so forbidden.

If well it is with Russia, then feel free
To say so or be stood against the wall
And shot. It's Pollyanna now or death.
This, then, is the new freedom we hear tell of;
And very sensible. No state can build
A literature that shall at once be sound
And sad on a foundation of well-being.

To show the level of intelligence
Among us: it was just a Warren farmer
Whose horse had pulled him short up in the road
By me, a stranger. This is what he said,
From nothing but embarrassment and want
Of anything more sociable to say:
"You hear those bound dogs sing on Moosilauke?
Well, they remind me of the hue and cry
We've heard against the Mid-Victorians
And never rightly understood till Bryan
Retired from politics and joined the chorus.
The matter with the Mid-Victorians
Seems to have been a man named John L.Darwin."
"Go 'long," I said to him, he to his horse.

I knew a man who failing as a farmer
Burned down his farmhouse for the fire insurance,
And spent the proceeds on a telescope
To satisfy a lifelong curiosity
About our place among the infinities.
And how was that for otherworldliness?

If I must choose which I would elevate
The people or the already lofty mountains
I'd elevate the already lofty mountains
The only fault I find with old New Hampshire
Is that her mountains aren't quite high enough.
I was not always so; I've come to be so.
How, to my sorrow, how have I attained
A height from which to look down critical
On mountains? What has given me assurance
To say what height becomes New Hampshire mountains,
Or any mountains? Can it be some strength
I feel, as of an earthquake in my back,
To heave them higher to the morning star?
Can it be foreign travel in the Alps?
Or having seen and credited a moment
The solid molding of vast peaks of cloud
Behind the pitiful reality
Of Lincoln, Lafayette, and Liberty?
Or some such sense as says bow high shall jet
The fountain in proportion to the basin?
No, none of these has raised me to my throne
Of intellectual dissatisfaction,
But the sad accident of having seen
Our actual mountains given in a map
Of early times as twice the height they are
Ten thousand feet instead of only five
Which shows how sad an accident may be.
Five thousand is no longer high enough.
Whereas I never had a good idea
About improving people in the world,

Here I am overfertile in suggestion,
And cannot rest from planning day or night
How high I'd thrust the peaks in summer snow
To tap the upper sky and draw a flow
Of frosty night air on the vale below

(Далее следует "заколдованная" 342-я строчка,
которая приведена в первой части "Нью-Хэмпшира").

The more the sensibilitist I am
The more I seem to want my mountains wild;
The way the wiry gang-boss liked the logjam.

After he'd picked the lock and got it started,
He dodged a log that lifted like an arm
Against the sky to break his back for him,
Then came in dancing, skipping with his life
Across the roar and chaos, and the words
We saw him say along the zigzag journey
Were doubtless as the words we heard him say
On coming nearer: "Wasn't she an i-deal
Son-of-a-bitch? You bet she was an i-deal."

For all her mountains fall a little short,
Her people not quite short enough for Art,
She's still New Hampshire; a most restful state.

Lately in converse with a New York alec
About the new school of the pseudo-phallic,
I found myself in a close corner where
I bad to make an almost funny choice.
"Choose you which you will be—a prude, or puke,
Mewling and puking in the public arms."
"Me for the hills where I don’t have to choose.”
"But if you bad to choose, which would you be?"
I wouldn't be a prude afraid of nature.
I know a man who took a double ax

And went alone against a grove of trees;
But his heart failing him, he dropped the ax
And ran for shelter quoting Matthew Arnold:
"'Nature is cruel, man is sick of blood':
There s been enough shed without shedding mine.
Remember Birnam Wood! The wood's in flux!"

He had a special terror of the flux
That showed itself in dendrophobia.
The only decent tree had been to mill
And educated into boards, be said.
He knew too well for any earthly use
The line where man leaves off and nature starts.
And never overstepped it save in dreams.
He stood on the safe side of the line talking—
Which is sheer Matthew Arnoldism,
The cult of one who owned himself "a foiled
Circuitous wanderer," and "took dejectedly
His seat upon the intellectual throne"—
Agreed in 'frowning on these improvised
Altars the woods are full of nowadays,
Again as in the days when Ahaz sinned
By worship under green trees in the open.
Scarcely a mile but that I come on one,
A black-checked stone and stick of rain-washed charcoal.
Even to say the groves were God's first temples
Comes too near to Ahaz' sin for safety.
Nothing not built with hands of course is sacred.
But here is not a question of what's sacred;
Rather of what to face or run away from.
I'd hate to be a runaway from nature.
And neither would I choose to be a puke
Who cares not what be does in company,
And when he can't do anything, falls back
On words, and tries his worst to make words speak
Louder than actions, and sometimes achieves it.
It seems a narrow choice the age insists on

How about being a good Greek, for instance)
That course, they tell me, isn't offered this year.
"Come, but this isn't choosing - puke or prude?"

Well, if I have to choose one or the other,
I choose to be a plain New Hampshire farmer
With an income in cash of, say, a thousand
(From, say, a publisher in New York City).
It's restful to arrive at a decision,
And restful just to think about New Hampshire.
At present I am living in Vermont.

1923 "New Hampshire"

Примечание.

В интернете переводов произведения "Нью-Хэмпшир" на русский язык не обнаружено.

***Эмерсон** - Ralph Waldo Emerson (1803-1882), сын пастора, выпускник Гарварда, сам пастор в молодости, затем популярный проповедник и лектор, выступавший в США, Канаде, Англии, Франции, автор 190 проповедей, церковный диссидент, эссеист, поэт, писатель, критик, ставший после Бенжамена Франклина духовным лидером американской нации; философ, проповедывавший прагматизм, индивидуализм, трансцендентализм. Он оказал большое влияние на взгляды Г.Торо, Г.Мелвилла, У.Уитмена, Э.Дикинсон, Р.Фроста, Ницше, Льва Толстого. Его противниками были Н.Готорн и Э.По.

****Dublin, Windham, Atkinson, Raymond, Derry, Bethlehem** - небольшие и совсем малые города и городки в разных графствах штата Нью-Хэмпшир.

*****Кит Марло**, Кристофер Марло (1564-1593) - английский поэт, переводчик, драматург-трагик, авантюрист, один из самых выдающихся предшественников и современников У.Шекспира.

******Поллианна** - героиня нашумевшего в 1913 г. романа-бестселлера американской писательницы Элеоноры Портер. Потом вышло продолжение, другие писатели издавали подражания, по роману снимались фильмы: с Мэри Питкфорд в главной роли в 1920 г., на студии Диснея в 1960 г. Роман вошёл в состав классических произведений американской детской литературы. Р.Фрост противопоставляет таким поделкам лучшие произведения русской классики.

*******Музилок** - гора в штате Нью-Хэмпшир, "Лысая гора" - на языке местных индейцев. Высота 1464 м. Излюбленное туристами место.

********Брайан** - возможно известный культуролог, автор многих книг, - Bryan N.S.Gooch.

********Джон Л.Дарвин** - трудно сказать существовал ли такой человек в действительности. Возможно Р.Фрост соединил фамилию Чарлза Дарвина с

инициалами Джона Л.Салливана. John Lawrence Sallivan (1858-1918) - родившийся в Бостоне первый современный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе.

*******Мэттью Арнольд** (1822-1888) - английский поэт, эссеист, моралист, культуролог.

********Ахаз** - библейский персонаж; иудейский царь, признавший владычество Ассирии и вводивший у себя в Иерусалиме финикийские и ассирийские культы.

Китти Хок

(Песня жаворонка - сложенная из коротеньких строчек). Посвящается Хантингтону Кэрнсу и его супруге, с которыми побывал там в 1953 году.

Часть первая.
Предвестия, предзнаменования, предчувствия.

Ах, Китти Хок, о Китти!
Я помню с давних лет
звучавший символично
коротенький куплет.
В Елизавета-сити
его я распевал
бродя вокруг по дюнам,
когда ещё был юным,
и затвердил отлично
на шесть десятков лет.
Без ясной цели, одинок,
тогда я смутно сознавал,
кто я такой и где я
среди моих дорог,
но думал о судьбе,
и зарождались в той ходьбе
недружные идеи:
шли в бой, как шквал на шквал.

И я их разбирал,
лишь как задуманные письма,
а после мял и рвал.
Скажу, чтоб не сочли за вздор,
что возле городка Нагс Хед
блеснул мне свет.
Я вник в секрет.
Не то, чтобы я вдруг, в натуре,
возжаждал упоенья в буре,
исполнясь страстью побеждать,
но захотелось дать отпор
плаксивой дури,
что лишь в любви вся благодать.
Поэты - толмачи лазури.
Небесный сонм - и мудр, и вечен.
Когда мне нужен ясный знак,
я жду, что скажет Зодиак:
что скажет Овен, что Телец,
что скажут Близнецы и Рак.
Но звёздный хор беспечен,
насмешлив, бессердечен.
В любой достойный миг
мне нужен свой язык.
Я должен сам сплести венец,
восславив беспримерный взлёт,
сперва под облака,
потом в священную мечту,
в неведомую высоту.
Здесь время обновило ход.
Здесь набран вновь запас песка
в часы с расчётом на века.
Я упрекал механика-творца
однажды ночью,
увидев сам воочью,
ещё до старта,
как он всё доводил
до славного конца;

был полон сил
и жаркого азарта.
Он был почти что победитель.
А я шпынял, как искуситель:
как может он уверовать в успех?
Я полагал,
что прав непогрешимо;
не понимал:
зачем необходимо
быть первым изо всех?
Пустили ложь,
что он и не был первым -
коварный нож,
прошедшийся по нервам.
И Герберт Гувер был знаком
с такого сорта ложью,
случившейся потом
намного позже,
когда какие-то кретины
отняли имя у Его плотины.
Нет преступления гнусней,
чем посягательство на славу,
которая заслужена по праву
героями былых и наших дней.
Я б эти действия сравнил
с бесчестным грабежом могил...
Но отвлечёмся на минутку
и развлечёмся хоть немножко:
споёмте в шутку
про здешнюю рулёжную дорожку,
чья слава и бесспорна, и чиста...
Безумцев в здешние места,
исполненных отваги,
звала судьба и их мечта.
Герой плаща и шпаги
Уолтер Рейли их не раз
манил сюда на остров Роанок

и к мысу Гаттерас -
но горек был их рок.

Меня ж там поддержали,
и улетучились в финале
мои печали
о "Gotterdammerung"
(о "Гибели богов").
В каком-то комитете,
в Елизавета-сити,
опять сплетал я нити
своих стихов.
Всё то, что мог испечь
стреляло, как картечь.
Поэмы были
как оплетённые бутыли
(как фляги
хорошей браги)
с зарядами идей -
хоть уток бей,
хоть лебедей,
пугая Карритак.
Но не в сезон
стрелять был не резон,
чтоб не убить друг друга.
Все веселились просто так.
Я тоже принят был в кутёж
как молодой собрат.
Там все внимательно следили,
чтоб не вовлечь меня в разврат,
ни в старом, ни в новейшем стиле.
В том обществе, куда стал вхож,
оберегали молодёжь.
Там были все дружны,
сентиментальны и нежны,
и, если поднимался тост за мать,
то все могли погоревать.

Они томились от безделья,
не знали, чем себя занять.
Искали повода к веселью.
Тот круг мне вскоре надоел.
Я вовсе не был лицемером.
Хотелось положить предел,
и я искал, каким манером.
Но вдруг рассеялся туман -
и я тайком сбежал на пляж,
туда, где океан
расходует свой раж.
Там сразу, впопыхах,
как птенчик беззаботный,
наткнулся на отряд,
оберегавший сушу.
И страж меня спросил,
вытряхивая душу,
о том, кто я, где был,
о прочей подноготной.
Вот так какой-нибудь пират
пытал Федосью Барр
на этом берегу,
схвативши как овцу,
ища товар,
и, верно, мстя её отцу.
Точней представить не могу.
Никто не вздумал повиниться
и не раскрыл той тайны,
но разные её вещицы,
попавшие к её врагу,
порой находятся случайно.
Таков наш Китти Хок.
Отец пошёл бы на кинжал -
он дочь безмерно обожал.
Он жизнь бы положил за дочь,
но здесь не мог помочь...
Вот так и шёл я с патрулём,

беседуя о том, о сём.
Мы шли, и ночь была ясна.
В волнах рождался звон.
Мы слышали фиоритуры:
"Луна была полна" -
так прежде Теннисон
сказал в поэме "Смерть Артура".
Я вспомнил эту строчку, повторив:
"Луна была полна". -
Была над головой -
кругла, светла.
Тянула на берег прилив.
Всё заливала дополна - и залила.
Ах, Китти Хок, о Китти.
Услышь меня! И все поймите!
Я, бывший не в ладах с людьми,
увидел в них, да и в Зените,
как мир жалеет о заблудшем сыне
и дочери, исчезнувшей в пучине.

Kitty Hawk

Back there in 1953 with the Huntington Cairnses
(A Skylark for Them in Three-Beat Phrases)

PART ONE
PORTENTS, PRESENTIMENTS, AND PREMONITIONS

Kitty Hawk, O Kitty,
There was once a song,
Who knows but a great
Emblematic ditty,

I might well have sung
When I came here young
Out and down along
Past Elizabeth City
Sixty years ago.
I was, to be sure,
Out of sorts with Fate,
Wandering to and fro
In the earth alone,
You might think too poor
Spirited to care
Who I was or where
I was being blown
Faster than my tread
Like the crumpled, better
Left-unwritten letter
I had read and thrown.
Oh, but not to boast,
Ever since Nag's Head
Had my heart been great,
Not to claim elate,
With a need the gale
Filled me with to shout
Summary riposte
To the dreary wail
There's no knowing what
Love is all about.
Poets know a lot.
Never did I fail
Of an answer back
To the zodiac
When in heartless chorus
Aries and Taurus,
Gemini and Cancer
Mocked me for an answer.
It was on my tongue
To have up and sung

The initial flight
I can see now might -
Should have been - my own
Into the unknown,
Into the sublime
Off these sands of Time
Time had seen amass
From his hourglass.
Once I told the Master,
Later when we met,
I'd been here one night
As a young Alastor
When the scene was set
For some kind of flight
Long before he flew it.
Just supposing I -
I had beat him to it.
What did men mean by
THE original ?
Why was it so very,
Very necessary
To be first of all?
How about the lie
That he wasn't first?
I was glad he laughed.
There was such a lie
Money and maneuver
Fostered over long
Until Herbert Hoover
Raised this tower shaft
To undo the wrong.
Of all crimes the worst
Is to steal the glory
From the great and brave,
Even more accursed
Than to rob the grave.
But the sorry story

Has been long redressed.
And as for my jest
I had any claim
To the runway's fame
Had I only sung,
That is all my tongue.
I can't make it seem
More than that my theme
Might have been a dream
Of dark Hatteras
Or sad Roanoke,
One more fond alas
For the seed of folk
Sowed in vain by Raleigh,
Raleigh of the cloak,
And some other folly.

Getting too befriended,
As so often, ended
Any melancholy
Gotterdammerung
That I might have sung.
I fell in among
Some kind of committee
From Elizabeth City,
Each and every one
Loaded with a gun
Or a demijohn.
(Need a body ask
If it was a flask ?)
Out to kill a duck
Or perhaps a swan
Over Currituck.

This was not their day
Anything to slay
Unless one another.

But their lack of luck
Made them no less gay
No, nor less polite.
They included me
Like a little brother
In their revelry -
All concern to take
Care my innocence
Should at all events
Tenderly be kept
For good gracious' sake.
And if they were gentle
They were sentimental.
One drank to his mother
While another wept.
Something made it sad
For me to break loose
From the need they had
To make themselves glad
They were of no use.
Manners made it hard,
But that night I stole
Off on the unbounded
Beaches where the whole
Of the Atlantic pounded.
There I next fell in
With a lone coast guard
On midnight patrol,
Who as of a sect
Asked about my soul
And where-all I'd been.
Apropos of sin,
Did I recollect
How the wreckers wrecked
Theodosia Burr
Off this very shore?
'Twas to punish her,

But her father more -
We don't know what for:
There was no confession.
Things they think she wore
Still sometimes occur
In someone's possession
Here at Kitty Hawk.
We can have no notion
Of the strange devotion
Burr had for his daughter:
He was too devoted.
So it was in talk
We prolonged the walk,
On one side the ocean,
And on one a water
Of the inner sound;
"And the moon was full,"
As the poet said
And I aptly quoted.
And its being hall
And right overhead,
Small but strong and round,
By its tidal pull
Made all being full.
Kitty Hawk, O Kitty,
Here it was again
In the selfsame day,
I at odds with men
Came upon their pity,
Equally profound
For a son astray
And a daughter drowned.

Китти Хок

Часть вторая

Когда б рулёжная дорожка
была счастливее немножко,
чтоб там вдруг музе подфартило,
да понесли её ветрила -
метафорою в неоглядь,
и зазвучали б небеса, -
какие бы слова взлетели,
как тысячи проворных птиц
над всем пространством без границ.
Какие были б чудеса,
какая дивная краса!
Не зная, как близки к той цели,
мы раньше не могли летать,
но вот под небом голубым
буквальным образом летим,
хотя мы только лилипуты.
Так как же вдруг мы взмыли круто?
Катулл подскажет, подтвердит:
мы, всё же, кто-то (aliquid)!
Мы обладаем смёткой.
Характер в нас - не кроткий,
и мы с задумкой чёткой.
Потомки йоменов,
мы шли пешком,
всходили на бугры.
Мы ездили верхом,
водили корабли,
надули лёгкие шары.
Нам, кроме моря и земли,
и воздух стал знаком.
Изобрели аэроплан.
Теперь пусть ураган
растреплет нам вихры.

Я был там с самого начала.

Я знал, что не один
учёный господин
осудит дерзостный почин.
И те порою смыслят мало,
а скептиков всегда хватало.
Недаром яблоко упало
однажды с дерева.
То сам Господь
послал материал
для размышленья,
в чём суть паденья
и что связует дух и плоть.
Сам Бог хотел нам намекнуть,
что разуму не грех рискнуть.
Люд Запада не прочь копаться
во всём до глубины и сути.
Философы и рудознатцы
не любят непонятной жути.
Наука - это чудодей,
и для неё важнее хлеба
овеществление идей,
проникновенье в глубь и в небо.
(Первейшие из всех забот -
ведь речь о будущем идёт).
Я говорю про Запад и Норд-Вест.
Восток - не то. Восток - другое.
Застыл ли он в оцепененье
в своём глубоком размышленье,
ещё во временном застое -
не рвётся ввысь, нашёл насест?
Но нет, Восток шумит
и, подражая нам,
дерзит и льстит
и мчится по пятам.

Дух входит в плоть
и оживляет твердь

и круговерть.
Он даже смерть
умеет побороть.
Мы видели великий перелом,
когда, подобно чудотворной силе,
вдруг человеческая часть
эфирной мировой души -
безумнейшая страсть
и мысль - свершили
слиянье с естеством.
Разбег на старте,
с нулевой черты,
с плиты
(допустим, что с базальта),
в Моаве или рядом,
с намереньем взлететь
без сальто,
неважно с кем.
(Без никого,
пусть с кем угодно -
из человечества,
в любви или вражде
и соревнуясь).
Вдруг радио,
и голос скажет:
"По алфавиту,
читаю: А, В, С -
чьи дни
рифмуются с цифирью: 1, 2, 3 -
что на воротах университета".
И вновь по радио
объявит местный голос:
"Входите и узнайте
побольше, чем возможно спеть.
В день всех святых
пусть страх вас не тревожит.
Здесь нет такого, что в запрете -

(такое держится в секрете).
Не избегайте искушений
и всяческих поползновений -
пусть совесть вас не гложет".
Затем в теченье многих лет
на всех материках
не кончит радио кричать
на разных языках -
на весь огромный свет:
в Афинах, на Эгейских островах,
во Франции, в Италии, в Британии,
везде на Западе с Норд-Вестом.
И мне не следует молчать
о наших истинных правах,
чтоб весть служила долгий срок
всемирным манифестом:
какой мы сделали прыжок!
Чтоб это знали все вокруг.
Его свершил не русский друг.
Прыжок свершён в Америке!
Хоть и трудна,
задача решена.
Заслужен приз:
корона или кубок,
но с надписью на нём,
помимо даты:
"Сперва свершишь подъём,
но после съедешь вниз". -
Судьба у нас земная.
Как минет час заката,
пойдёт пора ночная -
зажжётся свет без ламп и трубок.
Не всё ж считать овец!
Займём удобный пост,
чтоб небом любоваться,
займёмся счётом звёзд:
Дракон, Цефей, Стрелец.

Посмотрим вверх, как в святцы.
Там нужно без ошибки
нам всё именовать и знать,
да не заснуть, как в зыбке.
Планеты там бегут с разгона,
как большегрузные вагоны,
вот их могли бы мы догнать,
хотя не стоит обольщаться.
Нас убеждают, нам пророчат,
что мысль свершит всё то, что хочет,
что, не пугаясь ничего,
да с верой в наше мастерство,
мы подчиним нам естество.
Не будь защиты у природы,
так люди со своей сноровкой,
нацелившись на то с издёвкой,
оставили б натуру без свободы.
Но часто легче рядом шастать,
чем заграбастать.

Kitty Hawk

Part Two

When the chance went by
For my Muse to fly
From this Runway Beach
As a figure of speech
In a flight of words,
Little I imagined
Men would treat this sky
Some day to a pageant
Like a thousand birds.
Neither you nor I
Ever thought to fly.
Oh, but fly we did,
Literally fly.
That's because though mere
Lilliputlans we're
What Catullus called
Somewhat (aliquid).
Mind you, we are mind.
We are not the kind
To stay too confined.
After having crawled
Round the place on foot
And done yeoman share
Of just staying put,
We arose from there
And we scaied a plane
So the stilly air
Almost pulled our hair
Like a hurricane.

Then I saw it all.

Pulpiteers will censure
Our instinctive venture
Into what they call
The material
When we took that fall
From the apple tree.
But God's own descent
Into flesh was meant
As a demonstration
That the supreme merit
Lay in risking spirit
In substantiation.
Westerners inherit
A design for living
Deeper into matter
Not without due patter
Of a great misgiving.
All the science zest
To materialize
By on-penetration
Into earth and skies
(Don't forget the latter
Is but further matter)
Has been West Northwest.
If it was not wise,
Tell me why the East
Seemingly has ceased
From its long stagnation
In mere meditation.
What is all the hass
To catch up with us?
Can it be to flatter
Us with emulation?
Spirit enters flesh
And for all it's worth
Charges into earth
In birth after birth

Ever fresh and fresh.
We may take the view
That its derring-do
Thought of in the large
Was one mighty charge
On our human part
Of the soul's ethereal
Into the material.
In a running start
As it were from scratch
On a certain slab
Of (we'll say) basalt
In or near Moab
With intent to vault
In a vaulting match,
Never mind with whom -
(No one, I presume,
But ourselves--mankind,
In a love and hate
Rivalry combined.)
'Twas a radio
Voice that said, Get set
In the alphabet,
That is A B C,
Which some day should be
Rhymed with
On a college gate."
Then the radio
Region voice said, "Go,
Go you on to know
More than you can sing.
Have no hallowing fears
Anything's forbidden
Just because it's hidden.
Trespass and encroach
On successive spheres
Without self-reproach."

Then for years and years
And for miles and miles
'Cross the Aegean Isles,
Athens Rome France Britain,
Always West Northwest,
As have I not written,
Till the so-long kept
Purpose was expressed
In the leap we leapt.
And the radio
Cried, "The Leap-The Leap!"
It belonged to US,
Not our friends the Russ,
To have run the event
To its full extent
And have won the crown,
Or let's say the cup,
On which with a date
Is the inscription though,
"Nothing can go up
But it must come down."
Earth is still our fate.
The uplifted sight
We enjoyed at night
When instead of sheep
We were counting stars,
Not to go to sleep,
But to stay awake
For good gracious' sake,
Naming stars to boot
To avoid mistake,
Jupiter and Mars,
Just like Pullman cars,
'Twas no vain pursuit.
Some have preached and taught
All there was to thought
Was to master Nature

By some nomenclature.
But if not a law
'Twas an end foregone
Anything we saw
And thus fastened on
With an epithet
We would see to yet
We would want to touch
Not to mention clutch.

Китти Хок

Третья часть.
РАЗГОВОР В ПОЛЁТЕ

Твердят, что Господу приятно,
что мы торим дорогу
поближе к Богу.
Иным - увы - не всё равно,
где Бог сказал об этом внятно.

Сомнения родят тревогу.

Что ж там за серное пятно?
Где мы? Вокруг туман.
Заглянем в план.
Какой-то городок.
То - не Нью-Йорк.
Дотуда далеко.
То просто Китти Хок.

И нам легко
слетать в тот уголок.

Но береги наш аппарат.
Хоть в нашем самолёте
нет промахов в расчёте,
но вся наука - вздор,
как вдруг замрёт мотор,
и рухнем мы, как камень с гор,
одним единым махом -
закончив дело крахом.
Пойдёт сыр-бор,

и слепят из словечек
безжалостной молвы
рассказ про наш полёт,
как будто из травы
вскочил кузнечик.
Нет, пусть не топчут
наше достиженье.
Оно, столь скромное сперва,
рассчитано на вечность.
У нас на это все права.
Оно в развитии, в движенье.
Во времени,
не столь уж отдалённом,
его расцветят плещущим неоном.
Мы победили долгую беспечность
и одолели тяготенье,
учли мешавшие причины,
и вот - летит тяжёлая машина.
Проблеме, что была в пренебреженье,
мы смело, силами своими,
смогли вернуть достоинство и имя.

Подобно несравненной приме,
Земля объёмом не гордится, -
лишь достиженьями такими,
и стать смогла космической столицей.
Нет никаких особых излучений,
которые бы слал наш жёсткий шар.
Он не мрачит и не вздымает настроенье -
планете не присущ подобный дар.
Земля - не обиталище богов.
Всё, что мы шлём, - лишь отраженье
от наших скал - и мудрый свет
от мыслящих мозгов.
Земля - советчик, но не льстец.
И пусть от нас в любой конец
летит лишь щедрый дар сердец,

рождённый в добром пламени -
mens animi.

Но битв рассудков,
их кроссов или ралли
до нас нигде
светила не знавали.
Нет мест в природе,
где мчат в хороводе,
взыскуя света,
вкруг солнца планеты,
такого, чтобы в ком-то
в его круженье
была способность
развить мышленье.

СВЯТОСТЬ ЦЕЛЬНОСТИ

Пилот, всегда, в любом из мест,
твой взлёт - как жест,
а спуски и полёты вдаль
то вроде петель, то спираль.
В итоге - трудная посадка.
Дай Бог, чтоб вышла гладко.
Лети, забыв про стресс,
как молния с небес,
покинувши простор
на свой же задний двор. -
И вновь, как стерх,
взметайся вверх.
Исполни человеческую роль.
Ты там Король!
Пока царишь,
ты жизнь не зародишь
и не создашь ни грамма вещества.
Создать там новенькое что-то -
другая, не твоя забота.

Твой долг, твои права -
осуществлять контроль:
пускай не целого, но части.
Вот то, что у тебя во власти.
Своим вторженьем в беспредельность,
своим искусством и трудом
мы создаём наш общий дом
и сохраняем в мире цельность.
Мы заодно:
питаем отвращенье
к сварливым перепалкам,
к гниющим свалкам,
к порабощению людей
и попранью искренних идей.
Нет, нам не всё равно.
Мы выражаем наше мненье.

МЕХАНИК СМЕСИ

Мы мчим, как по волнам,
небесною дорожкой.
Наш славный самолёт
в пути не подведёт.
Он верно служит нам
чудесной поварёшкой
размером в знаменитый пароход.
"Титаник" движется,
сбивая в смесь
звучание миров,
и в унисон поёт,-
как чайник, закипев.
Вся та творожистая смесь
слилась в один напев,
в мелодию без слов.

Саму природу мучают сомненья.
В ней весь порядок бестолков.

Порой всё смутно.
Когда мы двое полетели
прекрасной ночью на неделю,
ведомые божественной десницей,
как царь с царицей,
и скипетр был при нас попутно, -
возник вопрос серьёзный.
Я ждал, что дама выскажет мне мненье,
что означает титул "Звёздная" и "Звёздный".

Машины - пилигримы!
Творцом летающих машин
иные полагают Сатану.
Но это Вам спасибо
за первый символический полёт.
Вам благодарность. Вам спасибо,
два брата Райты.
Вас даже прежде посчитали чудаками,
как Дариуса Грина* в родном Вам Дейтоне.

Примечание.

***Дариус Грин** - герой юмористического стихотворения "Darius Green and his Flying Machine". Автор этого стихотворения John Townsend Trowbridge (1827-1916). Троубридж был другом Марка Твена и Уолта Уитмена.

Kitty Hawk

Part Three
Talk Aloft

Someone says the Lord
Says our reaching toward
Is its own reward.
One would like to know

Where God says it though.
We don't like that much.
Let's see where we are.
What's that sulphur blur
Off there in the fog?
Go consult the log.
It's some kind of town,
But it's not New York.
We're not very far
Out from where we were.
It's still Kitty Hawk.

We'd have got as far
Even at a walk.

Don't you crash me down.
Though our kiting ships
Prove but flying chips
From the science shop
And when motors stop
They may have to drop
Short of anywhere,
Though our leap in air
Prove as vain a hop
As the hop from grass
Of a grasshopper,
Don't discount our powers;
We have made a pass
At the infinite,
Made it, as it were,
Rationally ours,
To the most remote
Swirl of neon-lit
Particle afloat.
Ours was to reclaim
What had long been faced
As a fact of waste

And was waste in name.
That's how we became
Though an earth so small,
Justly known to fame

As the Capital
Of the universe.
We make no pretension
Of projecting ray
We can call our own
From this ball of stone,
None I don't reject
As too new to mention.
All we do's reflect
From our rocks, and yes,
From our brains no less.
And the better part
Is the ray we dart
From this head and heart,
The mens animi.

Till we came to be
There was not a trace
Of a thinking race
Anywhere in space.
We know of no world
Being whirled and whirled
Round and round the rink
Of a single sun
(So as not to sink),
Not a single one
That has thought to think.

The Holiness of Wholiness

Pilot, though at best your
Flight is but a gesture,
And your rise and swoop,
But a loop the loop,

Lands on someone hard
In his own backyard
From no higher heaven
Than a bolt of levin,
I don't say retard.
Keep on elevating.
But while meditating
What we can't or can
Let's keep starring man
In the royal role.
It will not be his
Ever to create
One least germ or coal.
Those two things we can't.
But the comfort is
In the covenant
We may get control
If not of the whole
Of at least some part
Where not too immense,
So by craft or art
We can give the part
Wholeness in a sense.
The becoming fear
That becomes us best
Is lest habit ridden
In the kitchen midden
Of our dump of earnig
And our dump of learning
We come nowhere near
Getting thought expressed.

The Mixture Mechanic

This wide flight we wave
At the stars or moon
Means that we approve
Of them on the move.

Ours is to behave
Like a kitchen spoon
Of a size Titanic
To keep all things stirred
In a blend mechanic
Saying That's the tune,
That's the pretty kettle!
Matter mustn't curd,
Separate and settle.
Action is the word.

Nature's never quite
Sure she hasn't erred
In her vague design
Till on some fine night
We two come in flight
Like a king and queen
And by right divine,
Waving scepter-baton,
Undertake to tell her
What in being stellar
She's supposed to mean.

God of the machine,
Peregrine machine,
Some still think is Satan,
Unto you the thanks
For this token flight,
Thanks to you and thanks
To the brothers Wright
Once considered cranks
Like Darius Green
In their home town, Dayton.

1962 "In the Clearing"

R.FROST

Содержание

Роберт Фрост ПЕРЕВОДЫ ч.2.2 1

Форзац 2

Роберт Фрост 3

«Роберт Фрост в России» (Франклин Рив) 4

ПЕРЕВОДЫ (в переводе Владимира Кормана) 30

1. Рекордный шаг 32
   A Record Stride 33
2. Одинокий забастовщик 35
   A Lone Striker 37

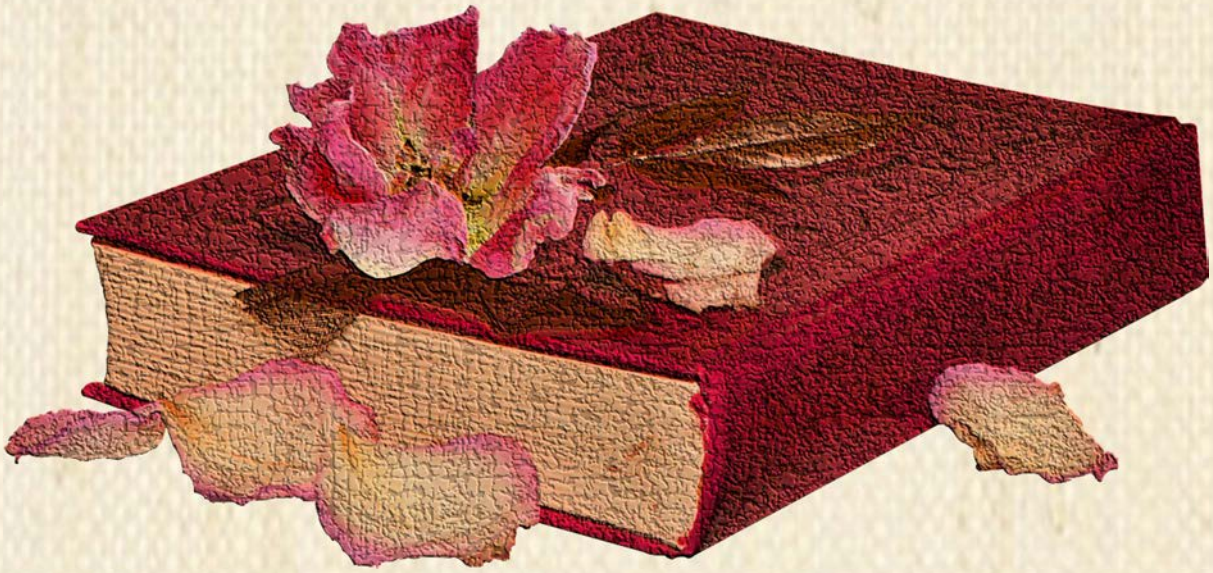
3. Присел на солнце у куста 39
Sitting by a Bush in Broad Sunlight 40
4. Ганнибал 41
Hannibal 41
5. Семейство роз 41
The Rose Family 42
6. Иммигранты 43
Immigrants 43
7. Вповалку 43
Lodged 44
8. Пыль в глазах 44
Dust in the Eyes 44
9. Охапка 45
The Armful 45
10. Отсчёт времени 46
The Times Table 47
11. Тому, кто смотрит в звёзды наудачу 48
On looking up by chance at the constellations 48
12. Вложение 49
The Investment 50
13. Обоюдное откровение 51
All Revelation 51
14. Мыслящему политику 52
To a Thinker 56
15. Древнее послание 57
A Missive Missile 59
16. Опасение 51
Misgiving 61

17. Неуж в конце концов никто не станет ощущать
того пути? 62
Does No One at All Ever Feel This Way in the Least? 64
18. Обиженный цветок 65
The Subverted Flower 67
19. Голубая лента Эймсбери 70
Blue Ribbon Amesbury 72
20. Там что-то есть и будет погодя... 74
For Once, Then, Something 75
21. Попутный разговор 75
Voice Ways 76
22. Последний краснокожий 76
The Vanishing Red 77
23. Потоп 79
The Flood 79
24. Воображаемые приключения 80
An Empty Treat 83
25. Мирный Пастух 85
The Peaceful Shepherd 86
26. Не насовсем 87
Not to Keep 87
27. Ночная радуга 88
Iris by Night 89
28. Запущенный сарай в туманном месте 91
The Old House at the Bottom of the Fogs 92
29. О сердце, замутившем рассудок 94
On the Heart's Beginning to Cloud the Mind 95
30. Затерявшийся в небе 97
Lost in Heaven 97

31. Хочу Вам возвестить тот час 98
I Will Sing You One-O 103
32. Избравшие должны быть безупречны 105
The Lovely Shall be Choosers 107
33. Место для третьей 109
Place for a Third 112
34. Топорище 114
The Ax-Helve 118
35. Голубика 121
Blueberries 125
36. Родник, бутыль, ишачьи уши, книги 128
A Fountain, a Bottle, a Donkey's Ears,
and Some Books 134
37. Начитанный фермер и планета Венера 139
The Literate Farmer and The Planet Venus 143
38. Жена Пола 148
Paul's Wife 153
39. Клён 157
Maple 163
40. В доме на финишной черте 169
In the Home Stretch 176
41. Поколения людей 183
The Generations of Men 191
42. Ключница 198
The Housekeeper 206
43. Как трудно не принять венца... 213
How Hard Is It to Keep from Being King 222
44. Воссоздай почву 231
Build Soil 240

45. От одного аспекта к другому 249
From Plane to Plane 254
46.1 Нью-Хэмпшир, первая часть 259
New Hampshire 1-214 266
46.2 Нью-Хэмпшир, вторая часть 275
New Hampshire 215–413 281
47.1 Китти Хок 288
Часть первая. Предвестия, предзнаменования, предчувствия. 288
Kitty Hawk 293
PART ONE. PORTENTS, PRESENTIMENTS, AND PREMONITIONS 293
47.2 Китти Хок
Часть вторая 299
Kitty Hawk
Part Two 304
47.3 Китти Хок
Третья часть. 309
РАЗГОВОР В ПОЛЁТЕ 309
СВЯТОСТЬ ЦЕЛЬНОСТИ 311
МЕХАНИК СМЕСИ 312
Kitty Hawk
Part Three 313
Talk Aloft 313
The Holiness of Wholiness 315
The Mixture Mechanic 316

- **Содержание** 320
- **Форзац** 327
- **Окончание** 328



Роберт Фрост

«Роберт Фрост в России» (из книги Франклина Рива)

ПЕРЕВОДЫ ч.2.2

Редактор: **Amidala**
Художественный редактор: **Amidala**
Технический редактор: **Yoda**
Ответственный за выпуск: **Yoda**
Оформление: **Amidala**

Утверждено к публикации: 09.04.2016
Формат документа: (А4) 27,9 х 21; 328 стр.
Тираж: Без ограничений.

2016 год